

Бабилей

На этот праздник меня выволокла Евстолия. Подкатила эдакой лисой: "Конь, говорят, у тебя застоялся. Не хочешь до Юрмолы прокатиться? Мне бы к бабушке одной надо, за овечкой наказывала приехать".

Ну и как было отказать? Как сказать: нет? Соседка. За всем тащишься к ней: и за молоком, и за картошкой, и за луком. А грабли, вилы, косу – у кого взять?

На новеньком, еще не обкатанном как следует «Немане», запряженном в двенадцать железных лошадей ("ветерок" мотор), мы быстро, за считанные минуты отмахали семь километров, вытащили лодку на песчаный берег – и в деревню.

И вот тут, когда мы вышли уже к баням на зеленый лужок да услышали в деревне гармошку, Евстолия мне объявила:

- На веселье настраивайся. Не за овечкой ехали – на Бабилей.
- На Бабилей? На какой Бабилей?
- На какой, на какой... Какой бывает, когда человек на пенсию выходит.
- На юбилей?
- Ну. Так, наверно, по-ученому-то. Мы у пня выросли, нечто и понимай.

Я круто повернул назад: у меня дома работы всякой невпроворот, горы (только что из города приехал), даже трава вокруг дома не выкошена, а она на-ко что выдумала – по каким-то Бабилеям разъезжать.

Евстолия проворно схватила меня за руку, слегка тряхнула (была у нее силенка, хоть на вид и рыхлая баба), затем, явно задабривая меня, с улыбкой сказала:

– Да ты разве сразу-то не понял, зачем я еду? Катерина, двоюродная сестра по мамы, на пенсию на той неделе вышла. Пять десятков жонке стукнуло. Наказала: приезжай и никаких, а то и за родню признавать не буду.

И уже совершенно обезоружила, когда, вся полыхая кумачовым румянцем от смущения, неуклюже, переступая с ноги на ногу, повернулась передо мной:

– Смотри-ко, как я вся вынарядилась. Кто в таких нарядах за овцами ездит?

Мы вошли в заулок к Юшковым как раз в то время, когда там плясали под гармошку. Плясали все скопом, всем застольем: бабы, девки, старухи, мужики, еще не пьяные, вывалившиеся на улицу, должно быть, первый раз. И плясали кто во что горазд. Кто, распарившись, одурев в избяной жаре, просто топтался на месте, только поворачивался, помахивая платком, чтобы получше обдуло вольным воздухом, кто, наоборот, молотил ногами насмерть, точно он задался целью во что бы то ни стало срыть зеленый лужок в заулке, насквозь пробить в земле дыру, а кто – парни, мужики, которые помоложе, – жеребцами резвились вокруг молодой синеглазой бабенки с гладко зачесанной головой сразу было видно, что она тут первая красавица.

И именно эта-то бойкая бабенка первой и увидела нас с Евстолией.

Увидела, подбежала, с ходу обняла Евстолию, а затем и меня.

– К столу! К столу! – закричала и, подхватив нас под руки, повела в избу.

– Вот сюда, вот сюда! На самое почетное место! Столы, расставленные вдоль стен буквой «п», ломились от всякой еды, от печева, от морошки – я в жизни не видал такой отборной, такой зрелой ягоды, да еще в таком количестве: тут она была полными тарелками, большими, как тазы, эмалированными мисками.

Как водится, нас заставили выпить по штрафной – дружно, всем застольем навалились, а молодая синеглазая бабенка – она села напротив нас – еще и присказку присказала:

- До дна, чтобы муха ног не замочила.
- А где сами-то хозяйева? – спросил я на ухо у Евстолии.
- Чего, чего?
- Где, говорю, юбилярша да Гордя?

Евстолия голову откинула назад, залилась на всю избу.

– Да ведь он не узнал тебя, Катерина! – сказала она молодой бабенке. Говорит, где хозяйка да Гордя.

– Молчи! – махнула рукой грузная, широколицая старуха в старинном повойнике с ярким парчовым доньшком. – Я, суседка, и то не узнала, а ему чего дивья. Много ли он видал ей?

Я видал Катерину, видал не один раз и даже, помнится, лет пять-семь назад чай у них пил, но большая ли радость смотреть на деревенскую бабу, задавленную колхозной и домашней работой, ребятишками, мужем? А Гордя был гроза тот еще: муха не пролети в избе, когда он дома. Сам пьяница, работник – выше караульщика склада на моей памяти не поднимался, инва-лид глупости, как сам иногда подсмеивался над собой (гранатой левую руку еще в школьные годы оторвало), а так сумел поставить себя и в семье, и в Юрмоле, что все старались держаться подальше

от него.

– Да, вот как тебя, сеструха, пензия-то подняла! – расчувствовалась Евстолия. – Хоть снова замуж выходи.

– Дак ведь пензия-то у ей не наше горе, – сказала Маланья, та речистая старуха в повой-нике с золотым донышком, – не двадцать рубликов. А сто двадцать. Есть разница.

– Заслужила! – трахнул кулаком по столу Виталька-бригадир (крепко уже поднабрался: меня не признал).

– Заслужила, заслужила, Виталий Иванович, – начали со всех сторон соглашаться с Виталькой (дурной во хмелю!). – Знамо, что заслужила. Весь век с телятами.

– А где у тебя сам-то?

Не знаю, просто так, из любопытства спросила Евстолия или для того, чтобы отвести разговор от Витальки, но только при этом все заулыбались.

– А сам на повети! – весело ответила Катерина.

– На повети? Чего там делает? Деньги зарабатывает, пока жена гуляет?

– Молчи ты, – замахала руками Маланья. – С утра вином накачан, чтобы не ширился тут. Знаешь ведь его, слова никому не даст сказать.

– Ну дак вот ты, девка, из-за чего человеком-то стала – от Горди выходной взяла.

– Так, так, Толя. Из-за этого дьявола не видно было Катерины.

– Гордю не трогать! – вдруг опять рявкнул Виталька и пьяно заплакал.

– Не трогаю, не трогаю, Виталий Иванович, – опять перешла на елейный тон Маланья. – Заботы ей высушили. У тебя сколько их было, Катя?

– Ребят-то? Дюжина рожалась, а в живых семеро осталось.

– У-у, у-у, беда! – стоном простонал стол. – Ноне с одним-то не хотят валандаться, а она – дюжину!

– Да, я уж не видывала Катерину в простое. Всё с брюхом.

– И правильно! Посуда не должна быть в простое.

На этот раз глотку Витальке заткнула Евстолия:

– Околей к дьяволу! Затем я семь верст попадала, чтобы твое рявканье слушать?

Катерина разудало крикнула – нарочно, конечно, чтобы не допустить ссоры за столом:

– Девки, мясо на стол!

– Смотри-ко, смотри-ко, сеструха, ты как командёр сегодня. У тебя и голос прорезался.

– В председатели надоть! – поддала жару Маланья. Она, когда выпьет, гроза-старуха. – А то всю жизнь из-за моря телушку возим.

– Верно-о-о!

Тем временем две дочери Катерины – просто замухрыги невзрачные по сравнению с мате-рью, просто сухари постные против сдобной булки, хотя и с шестимесячным перманентом на голове, при золотых кольцах – культурные, в городе живут, – принесли с холода накрошенное в маленьких тарелках мясо, и Катерина, все время до этого улыбающаяся – у нее и рот на удивленье был молодой, полон белых зубов, – вдруг взъярилась:

– Это чего вы принесли? Кошкям исть але людям?

Одна из дочерей с укором покачала головой:

– Красиво, больно красиво наакалась!

– А хоть и наакалась, не на ваши деньги. На свои!

– Мама, да ты с ума сошла! – Это уже другая дочь попыталась утихомирить разошедшу-юся мать.

Катерина вскочила на ноги, стоптала ногой:

– Мой, мой сегодня день! Не вам командовать матерью. Живо у меня! В один секунд чтобы все мясо на столе было.

Донельзя изумленные, не привычные к таким выходкам, дочери кинулись исполнять приказание матери, а за столом – Виталька уже спал, зарывшись лицом в тарелку с рыбными объедками, – тоже что-то вроде оцепенения наступило.

Катерина вдруг расплакалась:

– Не дивитесь, не дивитесь, бабы. Я ведь отчаянная в душе-то!

– Ты-то, ты-то отчаянная?

– Ей-богу! Я ведь и Гордю-то сама на себя затащила.

– Что ты, что ты ничего-то мелешь! Это ведь ты своего потаскуна выгораживаешь, а у него в каждой деревне наследники да девки.

– Нет, бабы, не вру, – сказала Катерина. – На войну-то, помните, сколько от нас уходи-ло? А сколько пришло? В очередь стояли. Как теперь в магазин на товары записываемся, так тогда на мужиков. Заявки давали. А уж какой товар, по душе, нет, не до выбора. Лишь бы штаны были. Вот ведь какое время-то было. Ну а я-то скурвилась еще в войну.

– Мама...

– Да чего – мама? – накинулась на дочь Катерины Маланья. – По-твоему, нельзя уж и о жизни сказать. Не человек мама-то? А ты-то сама на кровати чего с мужиком делаешь? Блох имашь? – И вдруг рассмеялась: – Не таись, не таись, Катерина. Я тоже ворота мужику девкой открыла. Вот те бог.

– Ну тогда и меня в свою компанию принимайте. Моя крепость тоже осады не выдежала, – призналась Евстолия.

– Шестнадцать лет мне было, когда я по своему Гордеюшку-то сохнуть стала.

Шестнад-цать. Выписали на подсочку, смолу, живицу собирать, а он, Гордя-то, на участке за старшого. Смотрю, все грабят за него – и бабы, и девки. А я чем хуже, думаю? Я тоже к тому времени различала, что штаны, что сарафаны. Вот раз встречаю в лесу. "Чего, говорю, ко всем липнешь, а меня стороной обходишь?" – "Да ты соплюха еще". А я и взаправду соплюха против его – двадцать семь мужику. Ну, отступить поздно, заело меня. "А ты спробуй, говорю, какая я соплюха". А он на смех: "Летай, летай, гулюшка".

– Сознательный был?

Катерина не очень весело рассмеялась:

– Сознательный. Шагов-то пятьдесят отошел, нет, от меня, да и назад. А через месяца четыре – чего у меня пояс не застегивается в прежню дырочку...

– Мама... – подала опять предостерегающий голос одна из дочерей.

– Да чего ты мне все рот-то затыкаешь? Ты, ты запузырилась у меня в брюхе! Да, вот какая я дура была, жонки. Ну уж потом-то, когда поняла, попереживала я. Сережка – в седьмом классе вместе учились – с войны пишет: пришли карточку, другой парень – пришли. А я с брюхом, и меня брать не хотят. Ну тут уж народ, люди за меня вступились: "Что ты, говорят, рожа бесстыжая! Ребенка совратил да еще рыло воротишь". Взял меня Гордя. Второй женой...

На синих глазах разволновавшейся, разалевшейся Катерины навернулись слезы.

– Он ведь, дьявол, с продавщицей жил, с евонной матерью. – Она кивнула на гармониста, белобрысого крепыша в белой нейлоновой рубашке с черным галстуком. – Пять лет мы делили его с ей. У ей приманка надежная – вино, а у меня чего? Мне на какой привязи его держать? Ладно, – круто оборвала себя Катерина, – хватит слезы лить. Сегодня праздник у меня, а не причитанье. – И тут она выскочила из-за стола, лихо топнула ногой: – Играй!

Гармонист заупрямился: не буду, раз так про мою мать.

– Чего? Не будешь? Играть не будешь?

– Валерко, сволота! – Евстолия, добрейшая Евстолия так рассвирепела, что обеими руками вцепилась в братынь с пивом. – Ты кому это отговариваешь? Кто тебе мать-то?

– Нехорошо, нехорошо, Валерий Гордеевич, – поддержала ее Маланья. – Не та мать, которая родила, а та, которая вспоила да вскормила. А ты ведь, Валерушко, к Катерине-то начал бегать, как ножками заперебирал.

– Мать вспомнил! Да твоя мать только и знала, что за штанами охотилась. Сколько она нашего брата разорила, дак это и страсть.

– Так, так. Погань, а не человек. А ты-то, материн заступник, чего к ей дорогу забыл?

– Да, да! К кому едешь-то? У кого отдых имешь кажинное лето?

– Да не один еще, а с робятищами!

Пристыженный, под орех разделанный бабами Валерка нехотя растянул гармонь.

– Не покойника, не покойника провожаем! Играй, дьявол! – опять все с той же неприими-римостью закричала Евстолия.

Затем сняла с головы платок, вытерла распаренное лицо, белую полную шею – душно было в избе несмотря на то, что все окна были открыты.

– Вздумал за мать заступаться. Знай лебедушку – вороньи перья. Да я бы на Катерини-ном месте ни одного Гординого выб... на порог не пустила. Эта вот вся выставка-то за столом, – Евстолия, ни на каплю не сбавляя тона, очертила рукой широкое полукружье, – думаешь, механизаторы местные? Ни одного в Юрмолe нету. Скоро всю деревню прикроют. Из города все. Гордина работа за тридцать лет. От пяти але от семи матерей, а то и боле. Добрый батько. Принимай, Катерина, все лето. Пой, корми, ублажай. А они все лето телеса на берегу жарят. Посмотри-ко, когда днем солнышко, лежище в песку-то выбито. А то опять грибы да ягоды заготавлиют. К осени-то в город поедут, со всех сторон обложатся корзинами да ведрами.

Валерку все же растрясли бабы – заиграл. Сперва, правда, – и у татки дрова, и у мамки дрова, а потом разошелся. Катерина разожгла.

Видывал я за свою жизнь плясунов и плясуний всяких. И профессиональных и самодель-ных. Да Катерина, если на то пошло, и вообще не была плясуньей сразу было видно, в каких она отношениях с половицами: хлоп да скок, да притоп, да картошки мешок. Но столько в ней было молодого задора, такая резвость, такая

неутомимость в ногах, во всем теле, так ладно, не по-бабьи выглядел ее стан, перетянутый узким черным лакированным ремешком, какие давно уже вышли из моды, такое счастье, такая синяя радость хлестала из глаз, что все притихли, все залюбовались ею.

– Смотри-ко, смотри-ко, – зашептала мне на ухо Евстолия, – ведь она с дочерьми поменялась. Дочерям надо на пенсию-то выходить, а не ей.

И это была правда. Старыми, несъедобными обабками выглядели дочери перед матерью, и только руки выдавали ее возраст. Большие, тяжелые крестьянские руки, черные, жилистые, с обломанными ногтями, руки, которые за свою жизнь переделали видимо-невидимо всякой работы.

Какое-то время Катерина скакала одна, а потом выскочил к ней один пасынок, другой, третий... И стоном застонала изба. И что еще все сразу же заметили: Гордины сыновья так и едят глазами Катерину, так и льнут, так и липнут к ней: кровь взыграла в мужиках.

И в конце концов дочери не выдержали:

– Мама, мама, срамница! Не смей ты людей-то, бога ради.

Катерина не по-бабьи, по-мужичьи топнула ногой:

– Цыц у меня! Мой сегодня день! Мой! Вы сколько в году-то пляшете, а я, может, первый раз за всю свою жизнь.

– Дуй, дуй, Катя! – выкрикнула Маланья.

И раззадоренная этими выкриками, Катерина сама уже наддала жару:

– Молчать у меня! А то живо мужиков отобью.

Хохот грянул по всей избе. Проснувшийся Виталька-бригадир дико заорал:

– Протестую! Не имеете права!

Но людям было не до него. Всех захватило бесшабашное веселье, даже я под столом прито-пывал ногой, а потом, когда высыпали на улицу – невмоготу стало в распаренной, как баня, избе, – началось и совсем черт-те что. Маланья, старая квашня Маланья пошла в пляс.

– Не спи, не спи, гармонист! Заморозишь!

Катерина по-прежнему ни минуты не давала себе передышку. Три гармониста сменилось за это время – у Горди все сыновья пилили понемногу, – самые здоровые мужики сходили с круга, а эта тончаява бабенка в голубом платьишке, перетянутом черным лакированным пояс-ком, все била и била ногами, и дешевенькое серебряное колечко ярко вспыхивало у нее на черной тяжелой руке.

Пляску прервал рев коровы на задах, которую, надо полагать, пригнали из покотины.

– Ну, Малька, Малька, – сказала Катерина, тяжело переводя дух, – не дала ты мне досыта наплясаться. Пляшите! Я живо управлюсь.

– Да что ты выдумываешь-то? – сказала Маланья. – Есть у тебя девок-то. Немало. Неуж в такой-то день за мать не подоят?

Катерина осталась – к корове пошли дочери.

– Играй! Выворачивай меха наизнанку! – распорядилась она.

Гармонист послушно запиликал, но тут уж взмолились все бабы:

– Хватит, хватит, Катя! Землю нам все равно наскрозь не пробить.

– Ну тогда по деревне. С песней! Как бывало.

Вечернее солнце за рекой садилось в тучу. И оттуда, с реки, доносились свои, железные песни – похоже, там с добрый десяток на разных скоростях рыскало лодок с подвесными моторами.

Обнявшись друг с другом, мы шагали двумя рядами по плотно заросшей дерном улице (в Юрмолу редко теперь проедет трактор или телега) и пели любимую Катерины – "Солдат вернется..."

Не радовала глаз Юрмола. Новой постройки ни одной (лет пять уже запрещено всякое строительство), исправные дома тоже наперечет, а общая картина – разорение, распад деревни: заколоченные окна, захламленные, поросшие собачьей дудкой пустыри, на которых когда-то кипела жизнь, и старые-престарые избы с провалившимися крышами, в которых сутками напролет пировала птица мира...

Старая Маланья первая не выдержала – расплакалась:

– Не вернется, не вернется больше солдат в Юрмолу. Кончается родная дерЕвенка...

И тут все старухи и бабы, еще какую-то минуту назад предававшиеся беззаботному веселью, вдруг заголосили, завывали, как на похоронах.

Я, воспользовавшись всеобщей сумятицей, незаметно нырнул в заулочек к знакомому мне дому.

Утром меня растрясла Евстолия:

– Вставай, дезертир! Вчерась бабы спохватились: где у нас писатель-то? А писатель, на-ко, на сеновал уполз – не сыпал бедный.

Я поднялся на великую силу, ибо заснул под самое утро. Одолели комары – три часа, наверно, с ними воевал: повесть была ветошная, дыра на дыре.

Над головой, за старыми вениками, висевшими с прошлого лета, кто-то, показалось

мне, вроде как всхлипывал – жалобно, по-ребячьи, и я, натягивая куртку, озадаченно уставился на Евстолию.

– Дождик, дождик, слава богу, – сказала Евстолия.

– Дождик? – переспросил я и первым делом подумал, как мы будем добираться домой.

Умная Евстолия угадала ход моих мыслей:

– Ладно давай, не сахарные. Не размокнем. Надоть дождик-от. Может, хоть картошки сколько подрастут да какой гриб в лесу заведется.

Вскоре, слегка отмякнув под теплой грибной моросью, мы входили к Юшковым: Евстолия и слышать не хотела, чтобы уехать, не попрощавшись: "Что ты, нелюди мы, что ли. Знаешь, ей какая обида будет. Да и голову поправить надо. У меня раскалывается голова, не довезти до дому".

У Юшковых пили чай. Пять мужиков, шесть подростков-акселератов (тоже, в общем-то, мужики, только с пушком на верхней губе да пустыми рыбьими глазами), две дочери, три невестки и сам – на хозяйском месте, сбоку стола. Мрачный, с сивой всклокоченной головой, с пустым, обвисшим, как тряпка, рукавом мятой-прямой рубахи, расстегнутой на весь ворот.

Подала на стол Катерина – я узнал ее по серебряному колечку на тяжелой черной руке, а так – что осталось от вчерашней красавицы? Старуха. Какое-то выцветшее, обвисшее на боках платьишко с обтрепавшимся подолом, растоптанные, с обрезанными голяшками валенки на босу ногу, серый, в мелкую клетку платок, низко натянутый на глаза и повязанный вокруг шеи, концами назад.

Эта крутая перемена в Катерине поразила не только меня, но, видимо, и Евстолию, потому что она, такая учтивая, на этот раз позабыла и поздороваться при входе в избу. И только когда Гордя хмуро повернул к нам голову, не очень приветливо сказала:

– Хлеб да соль.

– Хлеба ись, – гаркнул пропитым голосом Гордя и вдруг с надеждой взглянул на меня.

Евстолия разразилась бранью:

– Кой черт глазища-то вылупил? Думаешь, у писателя-то бочки с золотом? Не писатель тебя должен угощать, а ты писателя. Не стражай, не стражай меня своим кощейным-то взглядом! – замахала руками вконец распалившаяся Евстолия. – Не испугалась. Не таких змиев на своем веку видала! Пойдем! гневно крикнула она мне. – Кончился бабилей. – И, не попрощавшись, даже не взглянув на Катерину, выскочила из избы.

Заговорила Евстолия, когда мы перешли улицу да спустились к баням, от которых густо несло застарелым банным духом – дождь обостряет запахи:

– Ух, коль мне бедно на этого дьявола, дак я не знаю, чего бы с им сделала. Это ведь чего он на тебя глаза-ти распахнул? Бутылку, думал, поставишь. Вот какая он сволота – наскрозь его, гадину, вижу. Ну и ту, дуру, не хвалю. Господи, вчерась была – загляденье, краше-то ей на свете нету. А сегодня опять вехоть под ногами у Горди да у евонных выб..... Это ведь чего, думаешь, она платом-то со всех сторон обвязалась, глаза прячет? Гордя фонарей наставил.

– Ну уж!

– Чего ну уж-то? Не знаю разве. Проснулся утром – вчерась ящик вина был але два, а сегодня и наперстка нету. Вечор то сучье-то племя все до капли вылакало, такие они, все в Гордю, не успокоятся, покуда все не осушат, а спрос с кого? С Катерины. Ты, мать-перемать, така-эдака..

Дождь разошелся не на шутку. Старенький, неопределенного цвета хлопчатобумажный плащишко на Евстолии потемнел, мокрый подол платья стал оплетать толстые, нездоровые ноги, но разве ей было сейчас до этих пустяков?

– Я не знаю, не знаю, что мы за люди, – все больше и больше распалась она. – Весь век на нас какие-то прилипалы да огарыши ездят. Почто? По какому праву? Почто человеками-то мы не можем быть? Катерина вчера с коровушек, с коленей на ноги встала – дак вся природность возликовала. Помнишь, какой денек-то вечер был? Солнышко, кажный листышок играет, каждая птичка жизнь славит. Вот бы рай-то и спустился с неба на землю, кабы мы людьми были. А то ведь она раз, один раз за все пятьдесят лет человеком была. А почто? Горди, евонного отродья не стоит? Да они Катериного-то ногтя не стоят. Вот природность-то и отвернулась от нас. Вишь, как поливает. И солнышко за тучи скрылось. Стыдно ему за нас стало, потому и скрылось. Кой черт, я стараюсь, стараюсь для них, а они сами палец о палец не ударят. Ну вас к дьяволу, надоели вы мне! Ох, кака бы язнь, кака бы жизнь у нас была, сколько бы этой красы-то на земле было, кабы Катерина набралась смелости да всем этим сволочам вместе с Гордей в рожу плюнула! Хватит! Буде, поездили на мне, а тепере я буду командовать, раз вы ни черта не можете.

К этому времени мы уже подходили к лодке, по металлическим плоскостям которой

гулко барабанил дождь, и Евстолия распалилась уже до предела:

– Чего все молчишь? – Это уже за меня она взялась. – Еще писателем называешься. Я не байки сказываю, не потешки пою. Юрмолу-то до чего довели – на ладан дышит. Бабы ко мне о первом май заходили, еще тогда говорили: "Нам уж разве писателя просить. Он разве поможет. А то к смерти приговорили: свет не проводят, телят из Юрмолы угнали, а теперь и нас скоро выгонять будут". А писатель, на-ко, посидел, попил да к бабке на поветь, во сена душистые. На отдых. Разве умер бы, кабы с людьми поговорил? Вчерась тебя спохватились: где писатель, где писатель? Ну и я со стыда сгорела, скрозь землю готова провалиться...

Мы не сразу спихнули лодку – нос ее глубоко всосало в разжиженный дождем песок. А потом Евстолия, вся мокрая (я тоже был мокрый с головы до ног), села ни скамейку, широкой спиной ко мне, и уже до самого домашнего берега не проронила ни слова.

1975–1980

ПОСЛЕДНИЙ СТАРИК ДЕРЕВНИ

Всех знаю в своей деревне – старых, молодых, даже детей, если не по именам, то по обличью. А тут, смотрю, гребется какой-то старичешко от почты по пыльной песчаной обочине. Кто? Сапоги кирзовые, громадные, оттого что высохшие ножонки торчат в стоячих голенищах, как палки, батог в руке, сверкающий на солнце...

Подхожу ближе и глазам не верю: Павел Васильевич Савин.

Похудел, высох, глаза завалились, будто с того света смотрят... А борода? Где савинская борода? Еще какой-то год назад взобьет, распушит, расправит – целая копна на груди.

А какой он в молодости был, этот Павел Васильевич! Какая силушка, какая удаль гуляла по земле! Весной у нас, когда схлынет половодье да в Пинегу выпустят лес, самое ухарство – перебежать с багром в руках с одного берега на другой по плавучим бревнам.

Перебегал.

А что за диво, что за картина – я тогда был еще совсем-совсем ребятенком, – когда он ехал за невестой! В жизни не видал такой бешеной скачки допьяна напоенных рысаков в праздничной, жаром горячей сбруе. Мороз, солнце, а он в расписных сапках, стоя, в одной кумачовой рубахе, без шапки. Само нетерпенье, сама ярость.

– Павел Васильевич, – спрашиваю, – да ты ли это?

– Я, парень, я. Всё боле, на другую фатеру приказано перебираться.

Я стал говорить какие-то слова утешения.

– Нет, нет, не утешай – отгулял свое. На почту это ходил. Деньги на похороны сымал. Было шестьсот рублей накоплено, все снял. Не хочу, чтобы дети на меня разорались. И хочу проститься с земляками по-хорошему: чтобы все, кто придет, были угощены... Чтобы все запомнили, как последний старик деревни уходит на покой...

Я не удивился словам Павла Васильевича. Оставались еще в деревне три-четыре старика. Но последним-то стариком деревни называли только его Павла Васильевича. Он был из той уходящей породы русских мужиков, которые умели и жить с размахом, и работать всласть, и чудить.

Павел Васильевич умер в тот же день, под вечер, когда садилось солнце.

Всю весну и все лето лежал на своей старинной деревянной кровати возле дверей, а тут вдруг запросился на пол.

Дети (сыновья и дочери к тому времени уже съехались) исполнили просьбу – разостлали на полу, там, где стоял обеденный стол, перину, перенесли отца.

– А теперь Матрёна пушай ляжет рядом со мной. Сыновья и дочери переглянулись: что еще выдумал старик?

– Матерь, говорю, рядом повалите.

Матрена сидела в старом ватнике, прислонившись спиной к теплой печке. Когда-то это была писаная красавица, и Павел Васильевич смертным боем бился из-за нее со своими много-численными соперниками, да и потом, когда уже был в годах, обожал ее. "У меня Матрёнка... Моя Матрёнка... Я с Матрёнкой..." это был любимый, его разговор, и пьяного и трезвого.

А сейчас Матрёна, когда заговорил о ней муж, даже ухом не повела: она уж года три была не в своем уме.

– Папа, – заговорила старшая дочь осторожно (Павел Васильевич в строгости держал детей), – зачем тебе мама-то? Нехорошо ведь.

– Повалите, говорю, рядом со мной матерь.

Сыновья и дочери опять переглянулись, и что делать, как перечить умирающему отцу?

Федор Абрамов Бабилей abramovfyodor.ru

– Матрёнка, – сказал Павел Васильевич, когда старуху положили с ним рядом, – обними меня в последний раз.

Матрёна, к которой в эту минуту, видимо каким-то чудом, вернулся рассудок, неловко, суковатыми руками обхватила мужа.

– Вот и ладно, – прослезился Павел Васильевич. – А теперь оставь меня одного, я помирать буду.

И вскоре на глазах у всех умер.

Хоронили Павла Васильевича всей деревней. Все шли за гробом – и стар и мал. Все провожали в последний путь своего последнего старика.

1980

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

В контору влетела как ветер, без солнца солнцем осветило.

– Александр Иванович, меня на свадьбу в Мурманск приглашают. Подруга замуж выходит. Отпустишь?

– А как же телята? С телятами-то кто останется?

– Маму с пенсии отзову. Неделю-то, думаю, как-нибудь выдержит.

Тут председатель колхоза, еще каких-то полминуты назад считавший себя заживо погребенным (некем подменить Марию, хотя и не отпустить нельзя: пять лет без выходных ломит!), радостно заулюлюкал:

– Поезжай, поезжай, Мария! Да только от жениха подальше садись, а то чего доброго с невестой перепутает.

Председатель говорил от души. Он всегда любовался Марией и втайне завидовал тому, кому достанется это сокровище. Красавицей, может, и не назовешь и ростом не очень вышла, но веселья, но задора – на семерых. И работница... За свои сорок пять лет такой не видывал. Три бабенки до нее топтались на телятнике, и не какая-нибудь пьяная рвань – семейные. И все равно телята дохли. А эта пришла – еще совсем-совсем девчонка, но в первый же день: "Проваливайте! Одна справлюсь". И как почала-почала шуровать, такую революцию устроила – на телятник стало любо зайти.

Мария вернулась через три дня. Мрачная. С накрепко поджатыми губами.

– Да ты что, – попробовал пошутить председатель, – перепила на свадьбе?

– Не была я на свадьбе, – отрезала Мария и вдруг с яростью, со злостью выбросила на стол свои руки: – Куда я с такими крюками поеду? Чтобы люди посмеялись?

Председатель ничего не понимал.

– Да чего не понимать-то? Зашла на аэродроме в городе в ресторан перекусить чего, думаю, два часа еще самолет на Мурманск ждать, ну и пристроилась к одному столику – полно народу: два франта да эдакая фряля накрашенная. Смотрю, а они и есть перестали. – И тут Мария опять сорвалась на крик: – Грабли мои не понравились! Все растрескались, все красные, как сучья – да с чего же им понравятся?

– Мария, Мария...

– Всё! Наробилась больше. Ищите другую дуру. А я в город поеду красоту на руки наводить, маникюры... Заведу, как у этой кудрявой фряли.

– И ты из-за этого... Ты из-за этих пижонов не поехала на свадьбу?

– Да как поедешь-то? Фроська медсестрой работает, жених офицер сколько там будет крашенных да завитых? А разве я виновата, что с утра до ночи и в ледяную воду, и в пойло, и навоз отгребаю... Да с чего же у меня будут руки?

– Мария, Мария... у тебя золотые руки... Самые красивые на свете. Ей-богу!

– Красивые... Только с этой красотой в город нельзя показаться.

Успокоилась немного Мария лишь тогда, когда переступила порог телятника.

В семьдесят пять глоток, в семьдесят пять зычных труб затрубили телята от радости.

1976

НАДЕЖДА

Вышел на улицу, глянул в верхний конец – кто там пылит, клюкой на солнце размахивает?

Федосеевна. И разряжена в пух и прах: в старинном ярком сарафане, который, может, сохранился еще от приданого, в голубой шелковой кофте с белыми нашивками по подолу – тоже прежнего завода.

– Куда это с утра вынарядилась?

– За пачпортом. Из сельсовету вечор прибежали, чтобы за пачпортом в район ехала. Я говорю: что вы с ума-то сходите? Какой мне пачпорт помирать надоть. Але на том свете ноне порядки новые – без пачпорту и ходу нету? Всем, до последнего человека, говорят, пачпорта получать. Вот и собралась. Надо приказ сполнять.

– А не рано собралась-то? Автобус-то когда приходит?

– Ничего. У почты посижу. Тепло ноне. Не могу дома-то жить. Всю ноченьку глаз не сомкнула. Все вспомнила, по всей жизни прошлась. И как у отца с матерью в бедности вырос-тала, и как в колхозе робила, и как войну пережили. Три похоронки на одном году пришло – каково, думаешь, мне было? На Петю, на Владимира, на Павла – и все в сорок пятом году. Вот как война-то нас шарахнула напоследок.

А что, надоть как-то жить. Да надоть наследника але наследницу смекать. Мужик весь приохался: "Вот помру, и весь род-корень чемакинский искурится".

В сказке вон старик взял полешко да вырезал Ольшанка – вот тебе и сын, а нам как быть? Один весь изранен да искалечен и друга немолода молодка.

Ну господь услышал – дал Надежду. А что Надежда? Семё худое – говорю, живого места на мужике нету. И земля одно званье – когда есть цвет, а когда нету – вот как я рожала Надежду. Вот девка-то за все и расплачивайся. И за войну, и за мать (у меня два зуба во рту было, когда рожала), и за голод – отец, можно сказать, нарушил себя, всё, какой кусок, какая кроха в доме заведется, мне пихал: тебе девку кормить. А девка – слепая, затянуло гноем глаза. Сколькo, бывало, языком вылижу – до тех пор и свет белый ей светит, а так – при глазах слепая.

Ученье тоже не пало: с картошки-то не больно разбежишься. До четырех классов с грехом пополам доучилась – дальше-то что делать? В колхозе не работница – ей зажало. Как хлеб весь на сухой глине. А жить-то надоть. Живым в землю не зарывают.

Ну умолила – в лес взяли. На лесопункт синетаркой. За больныма ухаживать. И вот кого лес губит, а моей девке глаза раскрыл. Что ты, она ведь справилась в лесу-то. Весной приехала домой – стук-постук. Я ночью сплю: кто там стучится? "Я, мама, открой". Ну, открыла. В потемках-то я и не заметила, какая она. А наутрoсь, на свету-то, увидела и признать не могу. Писаная красавица! Да ты ли, говорю, это, Надешка? "Я, говорит, мама, я". Чистенькая, гладенькая, как картиночка, глаза во все лицо. Бывало, как котенок малый, все с закрытыми глазами, а тут не знаю, что и подумать.

Я опять за спрос: да, может, подменили тебя в лесу-то? А как не подменили. Дома все в голоде, картошка, и та не досыта. А в лесу-то она исть стала. Да хлеб хороший, настоящий. Да приделалась. Вот она и расцвела, как цветок в поле.

Ладно, подошла пора моей Надежде пачпорт получать. Пришла домой. "Так и так, Иван Павлович, – это председателю колхоза, – дай бумажку, в район лажу идти". А Иван Павлович, может, по самым большим праздникам только и человек. "Я, говорит, одну бумагу тебе дам – на телятник. У нас телята не поены, не кормлены со вчерашнего".

Надежда моя: "Не имеете права. Я, говорит, уж три года на лесном фронте". – "А теперь, говорит, будешь на колхозном. Я, говорит, тоже к вам приехал не своей волей. А раз я не своей, и ты будешь робить". Надежда у меня пришла в слезах: "Что делать, мама?" А что мама присоветует? Где мама бывала? Кого за свою жизнь видела? С малых лет в лесу да со скотом.

Что – надо возвращаться на лесопункт несолоно хлебавши, куда больше, а через день Надежда у меня прилетела на крыльях: "Мама, говорит, начальник лесопункта мне бумажку дал. За пачпортом иду. Моли бога, чтобы дали". И дали пачпорт. Да вот с этого-то пачпорта и начались все несчастья у девки.

Пришла на лесопункт, к начальнику: "Спасибо, Михей Лазаревич". – "А чего в спасибe-то?" – "А вот, – говорит Надежда, – праздник будет, бутылку поставлю". – "А мне, говорит, бутылка-то надо та, которая на двух ногах". Да шась к двери, дверь на крюк. Спозарился на Надежду. Девка красавица писаная, кровь с молоком. "Не могу, говорит, ни жить, ни робить, а у меня планы..." – "Что ты, – говорит Надежда, – ведь у тебя у самого жена есть, дети... Да как, говорит, ты подумал-то о таком?" Знаешь, по-хорошему все хотела. Думает, опомнится, придет в себя мужик. А мужик ей на деван валить, силой, приступом брать. Надежда выскочила через окошко, в одной рубахе, не знаю, как и ноги не сломала.

И вот с той самой поры у меня для Надежды житья не стало. Лезом лезут и парни, и мужи-ки. И свои, и вербованные. Один вербованный – до чего дошло – ножом стал стращать. "Моя, говорит, будешь але сколю".

Девка у меня с ума сходит. Хоть вешайся, хоть топись. Как-то прибежала домой: "Что мне делать, мама? Мужики проходу не дают. И от начальства никакой заступы". Такая уж, знаешь, у ей красота. Вот тянет на ей мужиков, да и только. Теперь уж сколько – тридцать пять, а хоть с завязанным лицом ходи – липнут да и всё.

Я говорю: раз в чужих местах житья нету – возвращайся домой. У нас, говорю, в

колхозе мужиков наперечет и поспокойнее свои будут. "Нет, говорит, мама, домой не вернусь. Не для того, говорит, я столько беды приняла с этим пачпортом, чтобы добровольно, своей охотой его лишаться. Надо, говорит, мне други ходы-выходы искать. На лесопункте реку вброд перебро-дить".

И вот перебрела. Шестнадцати годков замуж выскочила. Я учула заплакалась. Кто же в эти годы свою жизнь губит? А как зятя-то увидела, у меня и ноги подкосились. Под потолок будет. Мне надоть голову задирать кверху, чтобы зятя своего высмотреть. И некрасивый – черный. А она-то, как цветок лазоревый перед ним. "Что, мама, не понравился мой Вася? – Васильем жениха зовут. – Ничего, говорит. Я, говорит, видеть эту красоту не могу. Со своей намаялась. Я, говорит, оборону себе искала. Самый крепкий да самый сильный человек на лесопункте, хоть во спокойе поживу. Теперь, говорит, ко мне близко никто не подойдет". А что – неверный, все равно житья не стало.

Я не раз уже слышал эту историю, но не стал прерывать старуху. Старый человек любит выговориться, а у Федосеевны какой сегодня день?

– С первого дня веры не дал. "Ты, говорит, нечестна". Надежда доказала свою честь. Рубахой. Чуло, видно, сердце-то, откуда сиверок дохнет. Опять: "Как за меня, за такого лешего, пошла?" – "За силу твою, – говорит Надежда, – пошла. Мне, говорит, сила да заступа твоя надобна, хорошей да чистой жизни хочу". Опять – не любишь! Замучил, с первого дня замучил девку. Але кого Надеха встретит, не смей говорить-здороваться. А как не здороваться, как не говорить с людьми? У меня девка смалу в учтивости да в обхождении воспитана.

И вот Надежда у меня мучилась-мучилась, парничка прижила – ну, нету жизни. Всем бы хороший человек – и не пьет шибко, деньги хорошие зарабатывает, хозяйственный. Все справили: небель, стервант, одежды всякой назавадили, посуды звонкой. Ну неверной. В клуб не сходи, к людям не выйди, и на улице – вышла – везде евонные глаза.

Ну что, три года пожили, ушла Надежда. Все ему оставила: небель, деньги, тысяча рублей на книжке было, – только, бога ради, оставь меня во спокойе, дай мне жить-дышать. Да вот с тех пор так и путается – ни девка, ни жонка. Я начну говорить. "Не учи, не твое дело. Нынче половина так живет"...

Старуха ждала моего одобрения, и мне бы надо хоть кивнуть головой, что ли, – на большее я был не способен, потому что я раз двадцать высказывался по поводу образа жизни ее дочери, столь необычного для нашей все еще во многом патриархальной местности, но сегодня во мне вдруг что-то забастовало, и обиженная Федосеевна в конце концов встала с бревна, на котором мы сидели, да так и пошала, не попрощавшись.

1978–1980

КОГДА ДЕЛАЕШЬ ПО СОВЕСТИ

В пятьдесят втором году после окончания ветеринарного института Аркадия Стрельникова направили на Новгородчину старшим ветврачом зоны МТС.

Время было трудное, – послевоенное лихолетье! – многие колхозы дышали на ладан, а у него, ветврача, одна присказка, один разговор: сдавай мясо! Да мясо товарное – говядину.

Однажды Стрельников приехал в колхоз – председатель сидит за столом, по уши зарыв-шись в бумаги.

– Что за новая игра в бумажки? По мясу всех обскакал? – Стрельников, несмотря на свой возраст, умел страх нагнать – быстро "поставил голос".

– Эти бумажки – смертный приговор колхозу, – вздохнул председатель.

– Смертный приговор?

– Да. Заявления от колхозников. Коров да телок просят. – И тут председатель, как-то беспомощно, беззащитно взглянув на него, взмолился: Понимаешь, какое дело-то... Не дать коров колхозникам – разбегутся, без коровы на сотки не проживешь, а дать – ты же первый крик поднимаешь: почему у тебя молочное стадо сократилось?

– Ты мне Лазаря-то не пой! – начал было Стрельников с привычной фразы (не впервой приходится вправлять мозги) и вдруг прикусил язык, ибо председатель, как бы защищаясь от него, поднял руку, и вместо руки у него оказался пустой рукав.

Стрельников сел и долго сидел, со стороны, сбоку приглядываясь к худому, нездоровому лицу председателя.

– Слушай, – сказал он наконец, – а у колхозников, которые просят коров да телок, есть в личном хозяйстве свиньи да овцы?

– У кого есть, а у кого нету.

– А нельзя так сделать: вместо крупного рогатого скота сдать в госзакуп мелкий?

– Нельзя. По плану: говядина. Разве только ты как старший ветврач бумагу

выдашь: колхоз, дескать, сдал то, что надо.

Стрельников выдал бумагу, а через день его вызвали на бюро райкома. Заявление: старший ветврач Стрельников разрешил отдать коров колхозникам, а государству вместо высококачественной говядины всучил какую-то свинину и недозрелую баранину. Одним словом, обман, антигосударственная практика! (Кстати, заявление, как потом выяснилось, накатал один из колхозников, которому не досталось коровы.)

Секретарь райкома темной тучей навис над молодым ветврачом: отвечай! И от членов бюро несло крещенским холодом. И Стрельников в первую минуту перепугался насмерть, а потом вдруг вспомнил председателя с обручком вместо руки и просто озверел:

– Это накормить-то крестьянских детишек молоком антигосударственная практика? Да зачем же нас с вами сюда прислали? Разве не для того, чтобы крестьянские дети молоко ели? Или вам плевать на крестьянских детей, поскольку сами получаете молоко с базы? Нет, то, что я сделал, это не антигосударственная практика, а единственно государственная и народная практика! Сказал, и не вышел, а вылетел вон. Члены бюро уставились на первого секретаря: что сделает тот? Сейчас, сию минуту, позвонит куда следует или покамест распорядится, чтобы заготовили приказ о снятии Стрельникова?

А первый сидел-сидел, смотрел-смотрел в стол и вдруг сказал:

– Будем считать, что никакого заседания бюро у нас сегодня не было.

Прошло, наверно, с полмесяца. Многие сослуживцы перестали разговаривать со Стрельниковым – на всякий случай, чтобы не погореть заодно с ним. А сам Стрельников назло всем ходил по передней улице мимо райкома. Смотрите! Не боюсь! И вот однажды, когда он так среди бела дня напоказ рысил мимо райкома, оттуда вдруг вышел секретарь со своим синклитом.

– Стрельников, чего не здороваешься?

– А чтобы не подумали, что подлизываюсь к вам, – с вызовом ответил Стрельников.

– Вот как! – усмехнулся секретарь. – Ну коли ты не хочешь подойти, я сам к тебе подойду, – и на виду у всех через грязную дорогу пошлепал к Стрельникову.

Подошел, протянул руку:

– Правильно выступил. Мы действительно подзабыли, для чего живем я, брат, из беспризорников и знаю, что такое голод. Работай. Но серость свою не показывай. Со старшими надо здороваться.

1969

ВАЛЕНКИ

У Косовых дом разодет, как невеста. На веревках вокруг дома развешаны яркие шелковые платья, заодно переливающиеся на солнце, всевозможные шали, полушалки, платки, ситцевые и шерстяные отрезки, одежда верхняя, обувь, меховые шапки.

По-старинному сказать – это сушка нарядов, от моли, от мышей, но в то же время это и смотр благосостояния семьи, приданого дочерей. И надо ли говорить, что Дарья Леонтьевна, хозяйка всего этого великолепия, сияет с головы до ног! Это ведь она все нажила, своими рученьками нажила двенадцати лет от родителей осталась.

Я от души радуюсь вместе с Дарьей Леонтьевной и с удовольствием обхожу весь этот пестрый, пахучий парад и вдруг на видном месте, возле самого крыльца, замечаю два старых, растоптанных, без подошв черных валенка.

– А эти молодцы как сюда попали?

Дарья Леонтьевна молодо смеется.

– А от этих молодцов я жить пошла.

– Жить?

– Жить. Мне эти валенки в лесу дали. Первая премия в жизни. И вот жалко, никак не могу выбросить.

Дарью Леонтьевну прошибает слезой.

– Ох, как вспомнишь все свои стежки-дорожки, дак не знаешь, как и на сегодняшнюю дорогу вышла. Мне четырнадцать лет было, когда меня на лесозаготовки выписали. И вот раз прихожу в барак из лесу. "Новый год, говорят, Дарка, завтра у людей". Эх, думаю, и мне надо Новый год отметить. А как? Чем? У нас тогда, в войну, не то что хлеба, картошки-то досыта не было. А давай, думаю, у меня хоть валенки сухие в новом году будут. Положила в печь, легла на нары. Думаю, полежу немножко, выну. А проснулась утром – в бочку железную бригадир коло-тит. Я вскочила, к печи-то подбегаю, заслонку открываю, а у меня от валенок-то одни голяшки. Сгорели. Жарко, вишь, топили печь. Стены-то в бараках худые – к утру все выдует, куржак в углах-то, зайцы белые.

Я вся в слезах к начальнику лесопункта. Босиком. По снегу, как сейчас помню, – конторка напротив барака стояла. "Так и так, говорю, Василий Егорович, у меня валенки сгорели, что мне делать?" – "А что хошь делай, а чтобы к утру завтра была на работе. А то под суд отдам."

Пошла домой – восемь верст до дому. Из шубы маминой два лоскута вырезала, ноги обернула да так и иду зимой по лесу. Пришла домой, а что возьмешь дома? Катя, сестренка младшая, в детдоме, изба не топлена, на улице теплее.

"Вот я села на крыльцо, плачу. Идет старичок, Евграф Иванович, конюхом робил."

"Чего, девка, ревешь?" – "Валенки сожгла. Начальник сутки дал, а где я их возьму". – "Ничего, гово-рит, не плачь. Пойдем ко мне на конюшню, что-нибудь придумаем". Вот пришли на конюшню, тепло у дедушки, да я только села на пол к печке, прижалась, как к родной мамушке, и уснула. До самого вечера спала. А вечером меня дедушко Евграф будит: "Вставай, говорит. Ладно, нет, я чего скорестил". Я гляжу и глазам не верю: бурки теплые, эдаки шони из войлока от хомутов старых сшил. Я надела бурки да до самого барака без передышки бежала. В лесу темно, разве звездочка какая в небе мигнет, а я бежу да песни от радости пою. Успела. Не отдадут под суд."

А через полгода, уж весна была, приезжает к нам сам. Секретарь райкома.

"Говорите, кто у вас ударник". – "Дарка, говорят. Всех моложе девка, а хорошо работает". – "Чего хочешь? – говорит, это секретарь-то. Чем тебя наградить-премировать за ударную работу на трудовом фронте?" – "А дайте, говорю, мне валенки". – "Будут тебе валенки. Самолучшие". И вот осенью-то мне валенки черные привез. Опять сам. Верный человек был. Раз уж что сказал – сделает."

Я долго их носила. Бережливо. Первые-то пять только как выходные, а потом уж и каждый день, какие у меня эти валенки.

1974

ОТОМСТИЛ

Прошка Сальников, водопроводчик из нашего жэка, в ту пору, по его словам, только-только вставал на колеса, и деньги нужны были позарез.

Во-первых, получил комнатушку (первую в жизни!) – надо худо-бедно оснастить? А во-вторых, жена на развале – тоже расходы. Коляска там, кровать, бельишко – это самое малое.

Короче, без халтуры не обойтись.

Две недели убивался Прошка за городом – одной старухе сруб для дачки подрядился поставить. Ел всухомятку, спал три-четыре часа в сутки, да и то в шалашике, а уж октябрь был, и работку сделал на совесть (не растряс еще к тому времени деревенскую дурь). В общем, прини-май, старая, да выкладывай пятьсот рублей, как договаривались.

Старуха отвалила пятьдесят.

Прошка кричал, ругался, выходил из себя – но чем докажешь, что такой уговор был? Где бумага?

– Ну ладно, стерва старая, – сказал на прощанье, – спасибо за ученье. Ты меня ободрала как липку, но и тебе не жить в новом доме. Сгоришь!

Ушлая, бывалая старуха нажаловалась в милицию. Но разве он к тому времени не прошел уже всеобуча стержности у той же самой старухи?

– Впервые слышу. Знать ничего не знаю.

Шло время. Прошка мало-помалу обзавелся самыми необходимыми досками так на его языке называется мебель, – жене, ребенку дал нужную оснастку, а обида не утихала. Не мог позабыть старухиной наглости.

Но как отомстить? Спалить, как грозился? А суд?

Помог случай. Однажды он сильно порезал руку и, как водится, залил порез марганцовкой, а потом стал заправлять зажигалку, да обмакнул залитый марганцовкой палец в бензин – жаром запылала рука.

Мозги у Прошки заработали: а нельзя ли с помощью этой самой химии вызвать огонь?

Взял бутылку, налил в нее бензина, сыпанул марганцовки, отнес на пустырь.

Опыт удался: ровно через три недели бутылка взорвалась, и на пустыре вспыхнул пожар.

Дальше всё было просто: бутылку с бензином и марганцовкой Прошка подложил под сруб старухиной дачки, и та в положенный срок сгорела.

Претензий, само собой, к нему не было и не могло быть никаких. Никто не видел его в тот день возле старухиной дачки, да к тому же у него было алиби: не пожалел денег, весь день высидел в ресторане.

Но вот русский человек! Мало ему простой мести. Мало того, что сгорела дачка.

Федор Абрамов Бабилей abramovfyodor.ru

Надо, чтобы старуха еще от ярости покорчилась на его глазах.

Короче, отправился Прошка к старухе и прямо с ходу: так и так, мол, поняла теперь, как надувать честного человека? Где твоя дача? Сгорела? А кто сжег? Я. Старуха, как он и ожидал, не поверила, и тогда он неторопливо, со всеми подробностями рассказал, как спалил дачку.

И всё было бы хорошо – закрыто дело, да, на его беду, в соседней комнате (тут он опять дал осечку) сидели две старухиных приятельницы, и вот их-то старуха и выставила свидетелями на суде.

Прошке дали условно два года исправительно-трудовых работ да еще обязали выплатить старухе пять тысяч рублей.

1975

САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ

Нас от отца осталось – полна изба. И все девки. Из мужского-то один Тихон был. А в сусеках горстки муки нету. Матенка день и ночь бьется, потом-кровью обливается, а все ничего, все хлебница пуста.

Ну, долго ли, коротко ли – рассовала нас по людям. Брат Тихон в город ушел, а меня, двенадцать лет было, в монастырь свела. Да подумай-ко, я там, в эдаком-то аду, девять лет выжила. Девять лет на волосатых дьяволов стирала.

Разбудят, бывало, в три часа утра да стой-ко у корыта до восьми вечера. Дак уж напоследок-то стираешь – ничего не видишь и не чуешь, в глазах все так и ходит. Руки щелоком разъест до мяса. Красные. Как лапы у голубя. Жалели мыла-то монахи, все на щелок нажимали. А зимой-то в проруби полоскать! Стужа – хозяин собаку из избы не выгонит, а ты идешь на реку да выпо-лощешь двадцать пять кузовов. Да месяц пройдет, тебе за это рубль и отвалят.

Вот как меня в святых-то местах мытарили. Бывало, матенка придет, поплачет-поплачет да так ни с чем и уйдет: не к чему ведь дома-то прийти.

А что вот: как ни жила, как ни мучилась, а молодо дак молодо и есть подошло воскресенья, и нет-нет да и выйдешь куда. Теперь вот смотри, какая ягодка – собаки пугаются, а тогда, видно, не такой была. Идешь где работники глазами едят, по коридору ступишь – монах так и норовит за груди щипнуть, да, бывало, как двинешь в рожу-то волосатую – снопом летит.

Ядрена, ядрена была, не обидел бог здоровьем-то, мешки с мукой в шестьдесят лет вороча-ла, ну а супротив своего старика, тогда-то не старик был, кровь с молоком, не устояла. Поглядом взял. Всех – и монахов, и работников от себя отшвыривала, как щенят, кидала, а тут глазом повел и делай, что хошь, – ни рукой, ни ногой не шевельнуть.

Забрюхатела.

Ну что поделаешь, сама виновата. С мамой посидели-поплакали: такая уж судьба. А чтобы Олексею жалиться, слово сказать – это старику-то моему, мне и в голову не приходило. Из хорошего житья человек, первый жених на деревне – да разве ему с Олениной девкой вожа-тъя? Бесприданница, да еще и ворота на запоре держать не может. Раньше ведь строго было насчет девьей чести, не то что ноне.

А Олексея узнал, что я забабилась, – к родителям: так и так, отец и мати, кроме Олениной девки никого брать не буду.

Те его и лаской и таской, и добром и батогом – горячий отец был, ну Олексея на своем: не быть под моей рукой никому, окромя Окульки.

Отец распалился:

– Ах так! – говорит. – Отец-мать тебе не указ? Ну дак живи как хочешь. Ничего не дам.

И не дал. Мы три года в черной бане жили, три года дымом давились. Первую-то квашню я в чем, думаешь, развела? В чайке, из которой в бане мылись.

Олексея – спать ложиться: "Пой, женка!" Да я, веришь ли, сроду так не певала. Вся деревня выходила на улицу нас слушать. "Окулька-то, говорят, не диво, что пост. Той как не петь, лучше-то не живала, смалу в людях. А Олексея-то чему радуется?"

А мы с Олексеем быстро на ноги встали. Дом выстроили. Одни, всем в удивленье. Я заместо напарника была – и под дерево, и на дерево. Да, бревна вместе с Олексеем подымала и на углу с топором вместе сидела. И опять, бывало, вся деревня глаза пучит: ведь ни в жизни не видали, ни в сказке не слыхали, чтобы баба с топором управлялась.

Дом построили, хозяйством обзавелись, к нам и свекор-гроза пожаловал.

Старик беспомощной стал да слепой еще – кому такой надоть? Все три сына отказались. Иди, говорят, теперь к Олексею. Ты у его еще не жил. А как к Олексею-то идти, когда он его из дому выгнал, иголки не дал?

Я утром вышла – кто у нас на крыльце сидит? А то свекор. Колотиться-то не

смеет, вот и сидит на крыльце. А холодно. Зима. Самые раскрещенские морозы.

Я старика на руки да в избу, да на печь. А потом напоила, накормила да в бане намыла – его вошь съела. Ну дак уж он как малый ребенок плакал:

– Прости, прости, Окулина. Я не воздал тебе за твою доброту, дак пуцай хоть бог воздаст.

И вот не знаю, свекор ли намолил мне счастья (набожный был старик, не то что я, монасты-рка, так меня в деревне-то кличут), судьба ли у меня такая, а я самый счастливый человек по деревне. На войну четыре человека из моего дома уходило – муж, трое сыновей, и все четверо вернулись. А Олексеевы братья все там остались. Да что говорить? Три с половиной мужика по всей деревне вернулось, а у меня все четверо – это ли не счастье?

1979–1980

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

Отчего так пакостно на душе, отчего я весь разбит, измочален? Перебрал вчера? Или от вчерашнего словоблудия все еще мутит?

Боже мой, боже мой! Собралось встречать Новый год – веселиться, безумствовать, бурли, как шампанское! Так встречают нормальные люди самый прекрасный праздник в году. А мы на всю ночь развели высокоинтеллектуальный скулеж про нашу расейскую бестолковщину, про наши безобразия. И добро бы хоть польза была от него какая, добро бы хоть чувства свои граждан-ские, что ли, лишний раз отточили, пополнили свои запасы мужества и отваги на предстоящий год.

А то ведь как было? Рассказывали разные случаи, один отвратительнее другого – про бюрократический произвол, про взяточничество и коррупцию – и ни малейшего протеста, ни единого выкрика возмущения. Свыклись, примирились. И именно в этом был весь ужас, ибо кто собрался, кто сидел за столом? Писатели, художники, ученые – словом, те, кого принято называть наставниками, пастырями духовными.

Долго я, весь разбитый и измочаленный, лежал в постели, снова и снова прокручивая в голове все подробности вчерашнего вечера, унылым взглядом обводил комнату. Массивный, как сундук, телевизор во весь угол, полированный сервант, или стервант, как сказали бы мои деревенские приятели-остряки, заставленный всяким хрустальным барахлом, куклы франтоватых дамочек в национальных костюмах, которые я привез из заграничных поездок...

А где же новогодняя елка? Жена с племянницей обычно ставили елочку ко мне в комнату в самый канун Нового года – свежую, морозную, почти без всяких украшений, в своем натуральном наряде, и к утру она заполняла лесным духом всю комнату.

Так вот почему у меня непразднично сегодня на душе, начал я уже по-новому объяснять причины своего дурного настроения, – елки в доме нету. Вчера жена и племянница два часа мотались по городу – не могли достать А без елки какой же Новый год?

В передней зазвенел звонок – почта, должно быть.

Она. Я узнал Олю-почтальоншу по шепелявому, захлебывающемуся голосу. Оля поздравляла жену с Новым годом, и жена тоже поздравила ее, а затем, как я понял из дальнейшего разговора, хотела немножко, хотя бы десятью рублями отблагодарить ее за услуги – у нас большая почта и Оля иной день раз пять навещается к нам.

– Нет, нет, – услышал я опять торопливый и шепелявый голос, – это наша работа, нам за нее платят. Вы меня обижаете...

Обижаете? Это ее-то обижают? Господи, получает каких-то восемьдесят рублей за такой каторжный труд (попробуй-ка на себе потаскать целыми днями пудовую сумку из дома в дом, с лестницы на лестницу) да еще и «обижаете»...

Я пошел на подмогу жене.

Вижу, стоит в передней давно примелькавшаяся мне уже немолодая девушка в теплом платке. Серое дешевенькое, затасканное пальтишко с вытертым кроличьим воротником, старые суконные румынки, зубов спереди нет. А почему нет – гадать не приходится. Не очень-то разбежишься на ее капиталы.

И вот мы уже оба с женой уговариваем Олю принять от нас подарок. И снова: нет, нет.

Я надбавил пятерку – может, теперь будет посговорчивее?

– Вы меня обижаете! – сказала опять Оля. И сказала уже твердым, непререкаемым голосом, в котором, однако, угадывались с трудом сдерживаемые слезы.

И я глядел в ее большие, спокойные серые глаза и вдруг понял, что и в самом деле обижаю ее. Покушаюсь на самое дорогое богатство ее – честность и неподкупность труженицы.

Мне стало стыдно. Стыдно до слез. И в то же время какой свет хлынул в мою душу!

1977

ПОЛЯ ОТКРОЙ ГЛАЗА

– Узнаешь, нет? Але больно высоко вознесся, нас, грешных, не замечаешь? Давай дак разуй глаза-то. Так я и поверила тебе. Полю Малкину не узнал.

– Поля? Из седьмого класса?

– Ну то-то же.

Я так и эдак всматриваюсь в пьяную, развязную бабенку, незванно-нежданно ввалившуюся в избу, и нет, ничего не могу отыскать в ней от той черноглазой, смуглолицей девочки с гладкозачесанной головкой и пышной косой, которую мы звали Поля Открой Глаза. Звали за ее непомерную стыдливость и застенчивость, ибо она всегда ходила с полуопущенной головой и полузакрытыми глазами.

Когда Поля выпила стопку (ради даровой-то выпивки и зашла), она с ухмылкой сказала:

– Ты вот, как меня в седьмом классе звали, запомнил, а почто я такой-то отпетой стала, знаешь? Ничего не знаешь. Тебя кто учил-то? Профессора да всякие ученые? А меня жизнь-матушка. Ты после седьмого класса прямиком в восьмой. Так? А я куда? А я в лес. А почто в лес? А пото, что себя кормить надо да еще мелюзгу. Отец умер, нас шестеро осталось, и я самая старшая. Вот и дали мне путевку к пню – лес возить. Это четырнадцати-то лет.

Я села в сани: "Поехали, Карюха". А Карюха и не думает ехать. Я так, я эдак: милая, хоро-шая, дорогая. А милая да хорошая ни с места. И вот вечером мне и пайки нету: задание дневное не выполнила. А еще через день меня к начальнику лесопункта: "Как это понимать? Саботаж але вредительство?"

У меня были из дому сухари житние, сама не съела, а наутро все кобыле скормила. Думаю, поймет совесть, пойдет. А она опять ни шатко ни валко. Я плачу, я горькими обливаюсь – ничего поделать не могу. Спасибо, Василий Мартемьянович подвернулся. Старик, пины наставлял. "Что, девка, плачешь?" "Кобыла нейдет. Я уж ее и упрасивала, и умоляла, и сухарями кормила..." "Ох, девка, девка, да не упрасивать эту кобылу надоть да сухарями задабривать, а матюкать. Она к этой-политграмоте у мужиков приучена, а твоего языка она не понимает". Взял у меня из рук вожжи да как рявкнет, да как выпалит сто матюков в секунду, она, кобыла-то, и пошла. Вот так я обасурманилась, так я стала гнуть матюки, как медведица дуги.

А как я с этой, с белоголовкой-то, спозналась, дружбу свела рассказать? До тридцати лет в рот капли не брала, вот те бог! Даже в День Победы – по сто грамм спирту дали, не притро-нулась. Егору Степановичу отдала. А тут решила на случку идти, напилась. Что, что морщишь-ся? Небаско говорю? А баско-то в книжках, баско-то вы, писатели, сказки сказываете. А у меня какие сказки. До тридцати лет жила, ни разу с парнем не поцеловалась. С худым, мозгляком каким не хочу, а хорошие-то где они? Хороших-то на войне поубивали.

Вот так я и дожила до тридцати лет девушкой на все сто процентов. А тут спохватилась: да что же это я делаю-то? Ведь так я и зачахну стопроцентной девушкой, ха-ха. А где любовь? В романах, в кино вешаются да травятся из-за этой любви, а я жизнь прожила и не отведала. Вот тогда я первый раз с бутылкой-то и спозналась. А как? Надо идти на поклон к Ваньке Олешичу (один он у нас был сознательный, никого не отталкивал), а меня тошнит от одного вида его. И вот для храбрости я самахватила стакан да еще ему за труды бутылку прихватила. Задаром-то он не работает, ха-ха...

Ну про любовь обсказала – дальше тайна, покрытая мраком. Але еще рассказывать? Могу. Это еще все подходы к моей жизни, а про саму-то жизнь, ежели хочешь знать, я еще и не начинала...

1970–1980

СЛОН ГОЛУБОГЛАЗЫЙ

1

И как только я ни называл, ни крестил ее про себя, каких только прозвищ ни придумывал! Топало, бегемот, сундук ходячий, медведица двуногая...

Но все это было не то, все это в лучшем случае передавало ее внешний облик, ее громоздкость. Помню, я даже растерялся, когда впервые увидел ее, – такая вдруг громадина, такая вдруг стопудовая туша выперла из-за угла да еще в этом своем мужикоподобном, длиннющем, да колена, пиджаке из какого-то дешевого темно-синего

сукна...

Я немного успокоился, когда на ум пришла вот эта самая кличка – слон голубоглазый. Тут уж было кое-что ухвачено и от ее характера, от ее внутренней сути. По крайней мере – от ее доброты. Ибо всякий раз, встречаясь со мною (а мы как соседи по двору встречались почти каждый день), она улыбалась мне своими голубыми, прямо-таки ангельскими глазами (это при ее-то габаритах!) и с какой-то обезоруживающей простотой и даже застенчивостью, всегда одним и тем же, ровным и тихим, чуть-чуть шепелявым голосом спрашивала:

– Как вы поживаете? Как ваше здоровье? Как вам работается?

Я, конечно, отшучивался, говорил какие-то банальности, пустяки. А что было делать? Не принимать же всерьез все эти расхожие, изо дня в день повторяющиеся благоглупости? Но, странное дело, с некоторых пор я стал замечать: после встречи с Марией Тихоновной мне весь день было как-то легко и хорошо, и даже лучше работалось.

Между тем время шло. Прошла осень (первый раз я встретил Марию Тихоновну в солнечный сентябрьский день, когда весь наш двор был засыпан золотом опавшего листа), прошла зима, весна зелеными тополями вскипела у нас на дворе, а мы как раскланивались при встречах, так и продолжали раскланиваться. Да большего, откровенно говоря, я и не хотел.

И вдруг однажды приходит из университета жена (она читала курс русской литературы на заочном отделении, где работала Мария Тихоновна) и говорит:

– Марию Тихоновну видела.

– Ну и что?

– Приглашала на юбилей.

– На юбилей? На какой юбилей?

– На свой. Шестидесятилетие будет отмечать.

– Что ж, сделай доброе дело – сходи.

– Видишь ли, – сказала жена, – она нас вместе приглашала.

– Ну знаешь... Только мне теперь по юбилеям и ходить...

– Ничего. На часок – на два можно. Надо же уважить человека.

Я пришел в ярость. Конец мая, конец учебного года – да разве ей объяснять, ей растолковать, что за жизнь в это время у преподавателя университета? Каторга! Дипломные и курсовые работы, завершение лекционных курсов и спецкурсов, подведение всевозможных итогов за год – по учебной работе, по научной, по воспитательной... А всякие там собрания и заседания, всякая писанина отчетная... Да тут не то что по юбилеям ходить – дыхнуть некогда. А потом, что меня еще вывело из себя, – как она не подумала о главном деле моей жизни? Да, да, именно в те годы в великой тайне от всех по ночам, в летние каникулы, в выходные дни, годами недосыпая и не отдыхая, – я сотворил свой первый роман, и завтра как раз было воскресенье – единственный день за эти две сумасшедшие недели, когда я хоть на час – на два мог засесть за свою любимую работу.

Жена дала мне выкричаться, дала отвести душу, а вечером, за ужином, снова завела разго-вор про юбилей: Мария Тихоновна старый, одинокий человек, у Марии Тихоновны никого нет: ни детей, ни мужа...

Я легко отбил и эту атаку: всех не пожалеешь.

Но жена не унималась:

– Всех-то ты жалеешь. Только и делаешь, что говоришь да пишешь о любви к людям. А вот на деле любовь к человеку проявить – к живому, к конкретному...

И тут жена вдруг расплакалась:

– А ты забыл, забыл, что сделала для меня Мария Тихоновна? Да если бы не она, может, меня и на свете сегодня не было...

Были, были черные дни в нашей жизни. Написала жена кандидатскую диссертацию – на кафедре расхвалили до небес: новое прочтение раннего Горького, заметный вклад в науку, работу необходимо опубликовать... А через день та же самая кафедра вынесла решение: защиту диссертации отменить. И из-за чего? А из-за того, что накануне было партийное собрание университета и на том собрании выступил какой-то молодчик из породы так называемых бдителей. Потряса с трибуны авторефератом диссертации, он заявил, что вот, мол, до чего докатился филологический факультет, кому доверил разработку боевых проблем партийности в литературе! Человеку, который в годину всенародного подвига отсиживался у немцев.

И напрасно, напрасно жена стучалась во все двери, искала справедливости, взывала к своим товарищам по кафедре: нет вины за ней, не по своей воле она, девчонка, два года заживо умира-ла в городке, внезапно занятом врагом. Закаменели. Оглохли и ослепли.

И вот в это самое время, когда всё рушилось вокруг, когда, казалось, сама земля уходила из-под ног, – в это самое время ей и попалась на пути Мария Тихоновна.

Не знаю, до сих пор не знаю, чем так помогла жене Мария Тихоновна! Да и могла

ли она вообще помочь, если говорить начистоту? Не то делопроизводитель, не то какая-то секретарша заочного отделения, а в общем, как говорится, из малых мира сего, – да что она могла сделать для жены? Какую такую особую роль сыграть в ее судьбе?

Я, однако, никогда не старался прояснить все подробности и детали этой истории. Во-первых, не хотелось лишней раз травмировать жену, а во-вторых... А во-вторых, надо правду говорить: в те трудные дни я и сам не лучшим образом вел себя. Меня в те дни тоже захватил какой-то всеобщий страх и малодушие, и в душе я не раз клял себя за то, что так легкомысленно, так необдуманно связал свою жизнь с человеком такой судьбы и тем самым навсегда погубил свою чистую, свою безупречную биографию, которая по тогдашним временам открывала передо мною все двери.

Слезы, сознание до сих пор не выветрившейся полностью вины сделали свое дело, и в конце концов я махнул рукой: быть по-твоему! Пойдем, пойдем на юбилей.

2

Вечер был – чудо. Золотой закат во все ленинградское небо, пушкинская Нева с каменными-ми сфинксами, которые нездешними, загадочными глазами вглядывались в медленно наплывавшую на город белую ночь, первые цветы, первая зелень, широкие набережные, еще не остывшие от дневной жары и дымящиеся легким парком после полива...

И мы шли с женой по этому сказочному городу, наслаждались всей окружающей красотой, и я был счастлив. Счастлив от своего великодушия, от своего благородства, оттого, что я не зачерствел, как другие, душой, откликнулся на простой человеческий зов. И я представлял себе, как обрадуется сейчас старуха, увидев меня в дверях, какой переполох вызовет мое явление у ее невзрачных подруг – всех этих секретарш, делопроизводителей, лаборанток...

Так мы дошли до Дома ученых на Дворцовой набережной, и тут я опять, который уже раз за сегодняшний вечер, посмотрел на жену: не ошиблась ли она? Действительно ли в этом роскошном дворце назначен ужин? Ведь сюда даже известные ученые далеко не всегда могут пробиться-ся.

Жена ответила уже известным мне доводом:

– Да говорю тебе, все дело в столовой. Тут хорошо кормят и недорого.

Однако когда мы вошли во дворец, столовая, по словам мордастого, раззолоченного швейцара, была уже закрыта, и единственный банкет, который проводится сегодня в Доме, был на втором этаже, в главном банкетном зале.

В величайшем смущении, сопровождаемые подозрительным взглядом швейцара, мы по широкой мраморной лестнице, устланной коврами, поднялись на второй этаж и вступили в непривычный, сказочный мир дворцового великолепия.

Ерунда, ерунда какая-то, – оробело твердил я про себя и, уж не помню как, открыл какую-то дверь. Открыл и буквально замер: такое праздничное сияние огней, такое праздничное многолюдье увидел в зале. И кто, кто восседал в центре этого многолюдья, за главным столом, утопавшим в цветах? Мария Тихоновна, моя соседка по двору, в своем неизменном синем пиджаке.

3

Я начал понемногу приходить в себя, уже сидя за столом. Много, много было гостей! Про-фессора, доценты, ассистенты, аспиранты. С геологического, с географического, с биологического...

Многих из них я знал лично, уже сколько лет встречаясь на разных собраниях и совещаниях-ях. Но тут было немало и таких, кого я видел впервые, кто жил и работал, как я узнал от своей соседки, дамы строгой и сердитой, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, на Кольском полуострове.

– И что же, они специально приехали на этот вечер?

– Ну а как же! Да на юбилей Марии Тихоновны люди с того света приехали бы, а уж с этого-то что.

К нашему приходу (а мы с женой все по тем же моим амбициозным соображениям опоздали на сорок минут) главные речи и тосты были уже произнесены, и теперь в права вступали чувства, которые то и дело то тут, то там, как шампанское, выплескивались через край.

– Мария Тихоновна, вы были для меня как родная мать! Честное слово!

– А я Марии Тихоновне обязан жизнью... В тридцать третьем году меня исключили из комсомола, а значит, и из университета, как сына кулака. И если бы не Мария Тихоновна... – Голос говорившего дрогнул. – В общем, так: первую свою дочь я

назвал Марией, и мой сын свою первую дочь тоже назвал Марией. И я хочу, чтобы обе мои Марию хоть немного, хоть капельку походили на вас, Мария Тихоновна...

– А я на всю жизнь запомнила слова, которыми меня Мария Тихоновна вытасила из беды: "Смотри не на тех, кому лучше, смотри на тех, кому хуже..."

– Товарищи, товарищи... – Мария Тихоновна поднялась. – Нельзя же так. Это уже похоже на культ.

По столам прокатился смех, хохот, затем известный ученый-географ Василий Павлович, как бы подводя итоги, сказал:

– Наши дела, дела людей науки, измеряются статьями, книгами, открытиями, а чем, какой мерой измерить дела души, дела сердца?

Кто-то за дальним столом от полноты чувств закричал:

– Предлагаю учредить новую ученую степень – степень доктора доброты и человечности и первой присвоить эту степень нашему юбиляру!

Я посмотрел на жену, – в глазах у нее стояли слезы, да у меня и самого горло перехватывало, и вдруг я понял, что значила Мария Тихоновна в жизни этих людей.

Дети железного века, века, когда исчезли, позабылись такие слова, как сострадание, милосердие, жалость. Но она-то, Мария Тихоновна, знала, ведала силу этих слов. И сколько человеческих сердец отогрелось, оттаяло возле нее! Сколько отчаявшихся воспрянуло духом!

Между тем волны всеобщего энтузиазма, которые одна за другой обрушивались на Марию Тихоновну, стали понемногу стихать. Подвыпившие гости, как это всегда бывает на банкетах, начали члениться на группы и группки, пошли разговоры уже свои, не имевшие прямого отношения к юбилею, потом кто-то завел радиолу, и вот уже две-три пары закружились в вальсе.

4

Была, была своя Мария Тихоновна и в моей жизни.

В тридцать втором году я окончил начальную школу первым учеником, и, казалось бы, кто, как не я, должен первым войти в двери только что открывшейся в соседней деревне пятилетки? А меня не приняли. Не приняли, потому что я был сын середнячки, а в пятилетку в первую очередь, за малостью мест, принимали детей бедняков и красных партизан.

О, сколько слез, сколько мук, сколько отчаяния было тогда у меня, двенадцатилетнего ребенка! О, как я ненавидел и клял свою мать! Ведь это из-за нее, из-за ее жадности к работе (семи лет меня повезли на дальний сенокос) у нас стало середняцкое хозяйство, а при жизни отца кто мы были? Голь перекатная, самая захудалая семья в деревне.

Один-единственный человек понимал, утешал и поддерживал меня. Тетушка Иринья, набожная старая дева с изрытым оспой лицом, которая всю жизнь за гроши да за спасибо обшивала чуть ли не всю деревню.

Пять месяцев изо дня в день я ходил ночевать к ней. Днем было легче. Днем я немного забывался на колхозной работе, в домашних делах, а где спастись, куда убежать от отчаянья вечером, в кромешную осеннюю темень?

Я брел к тетушке Иринье, которая жила на краю деревни в немудреном, с маленькими старинными околелками домишке. Брел по задворью, по глухим закоулкам, чтобы никого не встретить, никого не видеть и не слышать. Нелегкое было время, корежила жизнь людей, как огонь бересту, и как было не сорвать свою злость, не отвести душу, хотя бы и на малом ребенке.

И вот только у тетушки Ириньи я мог отдышаться и выговориться, сполна выплакать свое неутешное детское горе...

Танцы продолжались, моя жена тоже была в кругу танцующих, и за столом, похоже, остались мы вдвоем – я да Мария Тихоновна.

Мария Тихоновна сидела напротив меня, задумавшись и подперев щеку рукой. Широкое скуластое лицо ее окутывал полумрак (свет для уюта пригасили), и я залюбовался ее прекрасными голубыми глазами...

Где, где я видел раньше эти глаза – такие бездонные, кроткие и печальные? На старинных почерневших портретах? Нет, нет. На иконе богоматери, которую больше всего любили и дочитали на Руси и которую я впервые увидел на божнице у тетушки Ириньи...

Марии Тихоновны давно уже нет в живых, и я даже не знаю, где покоится ее прах. Но в те дни, когда мне бывает особенно тягостно и безысходно, я вспоминаю ее юбилей.

1979

1

Шоферишко попался мне необкатанный, из молокососов, да еще с норовом: я ему – в объезд, он – прямо, я ему – прямо, он – в объезд. Ну и вляпались – сели на брюхо, по самую ось. Да где? На большой дороге возле Пинеги, как раз напротив Койды, там, где на веку никто никогда не застревал.

Если бы у нас был с собой топор, была цепь, лопата, всё было бы просто. Бревно, хламину какую под колесо, большую грязь отрыл, откопал и жми на газ. А то ведь у этого сопляка не то что нужного инструмента, самого дрянного ножа не оказалось.

Долго, часа полтора, плясали мы вокруг машины, но что сделаешь голыми руками? И в конце концов насмерть измученные, грязные, потные, мы сели возле дороги под березы и стали ждать – авось кто-нибудь проедет, не глухой проселок, главный Пинежский тракт.

Но шло время. Я выкурил одну папиросу, другую, шофер сбегал к реке выкупаться (нынеш-няя молодежь даром время терять не станет), а подмоги всё не было, и по-прежнему ничего, кроме шелеста разыгравшихся на ветру берез, не было слышно.

– Постойте, а какой сегодня день-то у нас? – вдруг осенило шофера. Не воскресенье?

– Воскресенье.

– Ну дак хоть до самой ночи тут загорай, никого не дождешься. В Койду ехать надо, – сказал он решительно.

Койда была на другом берегу, и попасть туда не составляло большого труда. Но я не спешил. За этой деревней у нас издавна водилась недобрая слава.

Есть на Севере, а точнее сказать, на Пинеге и на Мезени, такая женская болезнь – икота, которая, правда, сейчас немного поутихла, а еще совсем недавно редкую работную бабу не трепала. Найдет, накатит на бедную – и мутит, и ломает, и душит, и крик и рев на все голоса – по-собачьи, по-кошачьи, и даже самая непотребная матерщина иной раз срывается с губ.

Медицинская наука на эту болезнь обратила внимание лишь в самые последние годы, о ней даже в Большой Советской Энциклопедии нет ни слова, и потому в наших местах доселе считается: икоту садят, икоту насылают лихие, знающие люди – икотники и гнездом этих икотников является Койда, небольшое старинное селеньишко, отгороженное от большого мира рекой.

Я, конечно, во все эти рассказы давно уже не верил, но вот поди ж ты: когда мы в утлой, допотопной осиновке-долбенке переправились на ту сторону да стали подходить к деревне, у меня не то чтобы озноб по телу пробежал, а все какие-то иголки внутри ощетинились.

У шофера в верхнем конце жили дальние родственники, и он предложил мне пойти к ним ("чайшку хоть по стакану выпьем, ежели не будет ничего посуущественней"), но я решил пройтись по деревне: кто знает, доведется ли еще когда побывать тут.

Лет десять я не был в Койде, и, конечно, за это время она не стала лучше. Да и как она могла стать лучше, когда была приговорена к сносу. Новой постройки ни одной, а старые полуразвалившиеся, осевшие дома, как старые лошади на лугу, – неподвижные, безмолвные, погруженные в какую-то беспробудную дрему.

И мне жалко, до слез жалко было этих деревянных доходяг, но в то же время мне было и хорошо с ними. От них пахло согретым на солнце деревом, зеленая травка подступала к самому крылечку, и небо, вольное деревенское небо над головой. Не то что в моей родной деревне, где все опутано проводами да изрыто и перепаханно тракторами и бульдозерами.

2

Старуха была старая-престарая. Она сидела на бревне возле дороги, уткнувшись подбо-родком в клюку, босиком, в синем старинном сарафане с ляжками и, казалось, ничего не слышала, ничего не замечала. Но когда я подошел к ней поближе, она вдруг повернула в мою сторону морщинистое лицо и с интересом посмотрела на меня не по годам черными, живыми глазами.

– Что, бабушка, на солнышко погреться вышла?

– Вышла. Дочь поджидает. Где-то с утра ушла за хлебом и всё нету. За пять верст в Ровду ноне за хлебом-то ходим.

– Далековато. А что, свой-то магазин не работает?

– Не работает. Третьей год как лавку у нас прикрыли, а скоро, говорят, и деревню прикроют. Какие-то порядки пошли – живую землю хоронить... Да ты чей

будешь-то – спрашиваешь? Не здешний, видно?

Я назвался приезжим, подсел к старухе и тут же едва не вскочил – так ошарашило меня имя старухи.

Соломея! Или Соломида по-нашему. Самая что ни на есть главная икотница Койды.

Я немного успокоился, когда к старухе, часто дыша открытой пастью (жаркий день был, с солнцепеком), подошла молоденькая, недавно остриженная овечка и доверчиво уткнулась ей в колени.

– Что всё трешься да трешься возле меня? Не ленись, пощипли, травки-то. Ну, иди, иди с богом.

Старуха оттолкнула овечку, перекрестила темной, вздрагивающей от старости рукой, а потом перекрестилась и сама. При этом перекрестилась, как я заметил, двуперстным крестом, и я спросил:

– Старой веры держишься, бабушка?

– Старой. Через все страдания, через все испытанья с двуперстным крестом прошла.

– А много было у тебя страданий и испытаний?

Старуха вдруг всхлинула, слезы вскипели у нее на глазах, но так же быстро, как у малого ребенка, и высохли.

– Не обделил, не обделил меня господь страданиями. И с голоду сколько раз помирала, и ноги отнимались, и мужа насмерть убивали, и по тюрьмам, по острогам злые люди водили. А в деревне-то своей я как весь век выжила! Как в пустыне. Никто в гостях у меня не бывал, никто дочерей моих взамуж не взял – все пятеро так на корню и посохли.

Я знал, мне известны были причины старухиных бед, но в эту минуту у меня невольно вырвалось:

– Да за что же тебя так, бабушка?

– А из-за напраслины. Из-за того, что в икотницах весь век хожу. Кто чем ни заболит, у кого скотина ни падет – всё Соломида-верста виновата (это меня по мужу ругают), она икоту посадила, она порчу наслала. А я, видит бог, – и тут старуха опять истово перекрестилась, – ни делом, ни помыслом не грешна. Всю жизнь божьим словом живу, всю жизнь оберуч, как за веревку, за стару веру держусь. С той самой поры, с того самого время, как в Пустозерье ходила.

– В Пустозерье? В какое Пустозерье?

– Одно Пустозерье на свете, – посуровевшим голосом ответили старуха. В студеных краях, у Печоры-реки, где лиходеи великого праведника и воителя за истинные веры протопопа Аббакума сожгли.

У меня не было оснований не верить старухе, и все-таки в голове не укладывалось. Ведь это Пустозерье, или Пустозерск, – где? За четыреста пятьсот верст от Пинеги, куда и ходу-то раньше не было. Летом из-за бездорожья, из-за гнуса – живьем комар сожрет, а зимой опять снега, холода – куда попал?

– Ходила, – вздохнула старуха. – Девкой еще ходила. По обвету. Раз пришла с пожни, далеко у нас покосы были, на Вырвее, может, сорок але боле верст будет, да все суземом – сырыми ельниками, а дома у мамы гости: Иван Мартынович с Заозерья с женой да родня из своей деревни. "Что, девка, спрашивают, устала?" Да с чего устала-то? Нисколешеньки, говорю, не устала. Я еще, говорю, на игрище побегу. И побежала. У самой красные да черные колеса в глазах катаются, а побежала. Девка. Славы хорошей хочу. Думаю, скорее взамуж возьмут. А назавтра утром – мама зовет, шаньги поспели – я и на ноги встать не могу. Не мои ноги. Не стоят, подгибаются – нету костей. Вот как меня господь-то бог за похвальное слово наказал. Ну, погоревали, поплакали мы с мамой – в самую страду работница обезножела, – да что поделаешь? Так, видно, богу угодно, такова, видно, его святая воля. Стали меня в сенную запарку сажать, стали мурашиным маслом растирать, баню через день топить – все мертвые ноги, все ничего не помогают. А помощь пришла всё от того же господа бога Он, милостивец, ноги у меня отнял, он и вернул.

Была у нас в деревне старушка благочестивые веры, век скоромного не едала. Так и звали – Марья-постница. Вот эта-то Марья-постница меня и наставила: "Брось, говорит, девка, бесов тешить. Никакие тебе запарки-припарки не помогут, а поможет тебе, говорит, вера истинная да обвет". О, бабушка, бабушка, плачу, да я хоть какой обвет дам, только бы ноги ожили! "Тяже-лый, говорит, обвет на тебя наложу. Перво-наперво, говорит, на гулянках, на игрищах больше ни разу не бывать. Хватит ли у тебя на то духу?" Хватит, говорю. А сама голоса своего не чую, у самой свет в глазах погас. Понимаю: на гулянках, на игрищах не бывать, да и взамужем никогда не бывать. Ну, второй обвет – в стару веру перейти – ничего, вроде полегче, после первого-то не ноша. Так тогда по молодости-то своим умом рассуждаю. Ну а как третий-то обвет наложила – я и расплакалась. Сходить в Пустозерье к святому великомученику Аббакуму, кресту евоному поклониться. Да

ты, говорю, изгилеешься надо мной, баушка. Я до ветру на ногах сходить не могу, на коленцах ползаю, а ты о каком-то Пустозерье баишь. "Будут, говорит, у тебя ноги. Господу богу угоден будет твой подвиг, даст и ноги. А теперь, говорит, шесть ден тебе стоять на коленях на молитве. От восхожего до захожего. И об одном думать, про одно молить господа бога – чтобы силы дал подвиг совершить. За всю жизнь, говорит, как на свете живу, не слыхала, чтобы с Пинеги какой человек ходил в Пустозерье, а ты, говорит, сходишь, тебе, говорит, откроет всевышний пути-дороги в святую землю, где сподобился страдалец наш в муках огненных райский венец приять. Только, говорит, молись с усердием, так, говорит, молись, чтобы ни единого помысла, ни единого вздоха у тебя ни о чем другом не было, чтобы во всем теле жар стоял, ровно как в печи ты огненной. Шесть ден, говорит, стоять тебе на молитве, с понедельника до субботы. А в субботу, говорит, усни и спи, говорит, сколько можешь, хоть всю ночь и весь день. А как проснешься, говорит, в христово воскресенье, крестом себя истинным, двуперстным осени и вставай на ноги. Крепче, говорит, прежнего, крепче, говорит, дерева и камня у тебя будут ноги".

И все так, как сказала божья угодница, все так и вышло. Вернул господь ноги, доселе верно служат, доселе на зов господен иду.

И тут старуха повернула голову на восток и с признательностью, широко и степенно перекрестилась.

После небольшой передышки я снова начал заворачивать ее на тропы далекого прошлого.

– Ох, родимой, родимой! День рассказывать – не рассказать, как я в Пустозерье-то ходила. Перво дело – где это Пустозерье? В студеньих краях, на краю земли, где зимой и дня не бывает, всё ночь, а летом опять ночи нету, всё день, круглые сутки солнышко. А как туда ийти-добираться? Откуда след начинать? Ну да надоть обвет держать, раз даден. Собрали меня дома в дорогу, котомку с хлебцами за спину, два медных пятака денег дали – иди, ищи Пустозерье. В городе Пинеге Микольская ярманка, со всего царства народ съезжается – может, там скажут. И сказали в городе Пинеге: обозы с рыбой с Печоры-реки есть, с има, с тема обозами, попадать надоть. Четыреста верст але боле тайболой – лесами да тундрой – как одному человеку попасть?

Вот я и увязалась за тема обозами. Сподобилась принять крещение морозами да снегами. Страсть, страсть эти хивуса-ти тамошние – метели-то да бураны снежные. Как задует, задует, ни земли, ни неба не видно, по пяти ден из кушни, лесной избы, выбраться не можем. Все угорим, все облжемся – о беда. Але темень-то эта тамошняя. У нас о ту пору, возле рождества, свету немного бывает, а там день-то – как зорька сыграет, а то все ночь, все темень кромешная. Мужики звезды в небе ищут, по звездам едут, а я крестом себе дорогу освещаю. Пальцы в рукавице в крест двуперстный зажала, да так с крестом истинным и прошла взад-вперед. Люди – вернулась – как на диво на какое на меня смотрят. Со всей Пинеги старухи-староверки да старики шли. Начну рассказывать, как ходила, какие муки претерпела, сама не верю себе. Думаю, таких больше на земле и страданьев нет, какие я вынесла. А нет, страданья-то да муки у меня начались, когда меня в Койду выдали.

Я ведь думала, раз с гулянками пришлось расстаться, век до гробовой доски в девках коротать, а нет, господу угодно было через новые испытанья свою рабу провести. Перво-наперво у мужа мужской силы не оказалось обабить меня не может. Год хожу порожняя, другой. Свекор и свекрова смотрят косо, мама родная грызет: доколе срамиться будешь? А я чем винова-та? Мне не тошно – два года ни девка, ни баба? И мужика жалко, хороший у меня мужик был. По ночам оба плачем – подушка утонула в слезах. Ну, тут дале вразумил меня господь: всё от бога. Он живот тебе дает, он и силу. Молись, говорю, мужику. День и ночь молись. И я буду молиться. Господь услышит нас. И господь услышал. Раз ночью будит меня мужик: "Проснись, Соломида, у меня мужская сила появилась". И я проснулась, и мужик сделал свое дело.

Я никак не ожидал такой откровенности от старого человека и, чтобы скрыть свое смущение, закашлял. Старуха, однако, сразу поняла это и всё с тем же простодушием и назидательно-стью сказала:

– Господь бог создал людей, чтобы плодились и населяли землю и господа бога прославля-ли молитвой и добрыми делами. Нет греха спать со своим мужиком. Грешно прелюбы творить да в страстные дни сходитьсь, а в остатнее время божий мир любовью держится. Все божьим словом да верой делатся. Божьим словом людей на ноги ставят, со смертного одра поднимают. Я своего мужа божьим словом из мертвых воскресила.

– Воскресила?

Старуха не сочла нужным как-либо прореагировать на мой изумленный возглас. Она продолжала:

– У меня мужик смалу в ненависти у людей был. Раз сказал на похвас, чтобы от ребят оборониться, – бить стали: "Я на вас икот напущу", – да с той поры житья бедному не стало, а потом и мне, евоной жене, и девкам нашим. Вот ведь как к бесам-то взывать, а не к богу-то. Хотел острастку другим дать, а взвалил на себя каменный жернов. Всё он, всё мы во всем виноваты: кто заболел, у кого скотина пала. А в то лето какой-то мор на корову да на овцу был. Что ни день, то одну, то другую зарывают. И вот уехал мужик к селу, на пожню, я немогу, дома осталась, только что Матрену родила, тяжелы роды были. Настает Ильин день, праздник большой. Все с пожни выехали, старый и малый, а мой где? Пошто моего-то нету? Набожный человек был, все праздники соблюдал. Ох, чуется сердце, неладно с ним. Запрягла кобылу, две лошади у нас было, исправно жили, поехала навстречу. Еду, еду, все не видко мужика. Дале на сосновый бор выехала – чего это там, в стороне, вороны орут-разоряются? Подошла, а там мой мужик бездыханный лежит, хворостом закидан. Намертво у мужиков забит.

Я пала на колени, молитву господе вознесла. Господи, говорю, ты вдохнул жизнь в глину мертвую, Адама-человека сотворил, а разве я не твое творенье, господи? Разве не твой превечный огонь во мне горит? Господи, говорю, дай мне силы-мочи мужа бесповинного из мертвых поднять. И господь дал силы. Начала я дуть в холодные уста мужу, он у меня и ожил, «ох» сказал. Силой, силой слова господня подняла. Я так, бывало, и животину строптивую укрощала. Конь был у фокти-барышника дикой, никак объездить не мог. Пришел ко мне: "Соломида, ты слово знаешь, помоги. Какие хошь деньги заплачу". Лошадник был. Слово, говорю, знаю одно – господне. И тем словом помогу. А платы мне никакой не надо. Только табачину смолить перестанешь. И перестал, одним табачником меньше в койде стало. А я лошадь в хомут ввела. Словом божьим. Бо слову божьему всё подвластно: и человек, и зверь, и гад ползучий. Святые-то угодники, в пустошах которые жили, какие чудеса в старину творили. Льва и медведя укрощали. И я одним словом божьим мужика убитого воскресила.

Еду, подъезжаю к деревне, в одной руке вожжа, в другой Иван при смерти, а на нас новая смерть – мужики с кольями. На самом въезде в деревню. "Убить, убить!" – режут. О беда, о горе горькое! Прощайте, родители, прощай, дочи-сирота. Тут нам и живот отдать. Некуда деваться. Наутек ехать – догонят. И вперед – порешат. Вспомнила: есть у меня заступа – господь бог. Ежели кто и поможет нам сейчас, дак он, всеблагий, он, милостивец. Взмолилась жарко: господи, говорю, яви чудо. Сколько раз, говорю, в Пустозерье ходила, от смерти спасал, и тут, говорю, спаси. Не за себя, говорю, прошу, господи. Мужу бесповинному не дай помереть, дочерь нашу не осироти. И тут мне голос сверху: крестом да огнем, крестом да огнем... А где огонь, где крест? Стоим на въезде в деревню, народ пьяный с кольями, собаки воют. Ну, опять господь бог на помощь пришел. Выдернула я кол из огорода, к колу кнутовище ремень привязала – крест. А огонь... Сарафан (голова у Ивана обмотана была, еще там, в лесу, с себя сняла) на крест намотала да в туес со смолой – к телеге привязан был. И вот народ с кольем да с палками на нас, а я на них с крестом огненным. В одной рубахе льняной, белой, и заливаю молоко. У других от страха молоко в грудях зажимает, а у меня все не как у людей – только в эту минуту молоко и открылось. Как плотину, скажи, прорвало. Вся рубаха вымокла от ворота до подола. Вот стою я на телеге в одной рубахе белой, а в руках крест огненный. На колени, говорю, ироды! Поклянитесь, говорю, словом божьим, что никогда больше не тронете мужика, а то, вот те бог, сейчас всю деревню спалю. И пали ироды пред божьим крестом да огнем. "Не будем больше, Соломида. Прости". Господь, господь выручил меня. Он, милостивец, пришел ко мне на помощь. Разве у смертного человека хватило бы силы одной на супостатов пойти, крест из кола поднять да огонь из себя родить? Я ведь на них, иродов, в одной рубахе да с крестом горящим как кара божия пала, как архандел Михаил в судный день явился. Откуда у меня о ту пору и огонь взялся. Тогда ведь и спичек не было, все кремешком искру высекали...

– Ну, после этого успокоились земляки, не досаждали больше?

– Ох, милой, милой! Человек бы успокоился, кабы с ним один андел был. А то ведь у нас по праву руку андел-хранитель, а по леву бес-искуситель. Было, было испытанье мне отпущено. Не оставил господь в праздности. В колхозе робила – все одна на поле, все понапралина, как стена, меж мной и людьми. Все Соломида всех портит. А начальство, то опять невзлюбило за то, что в христово воскресенье не роблю. Два раза в лагеря на отсидку гоняли. Я говорю: дайте мне хоть в три раза больше заданье – сделаю. Только не заставляйте христово воскресенье топтать. Ну, господь не оставил меня. Я и там, за проволокой, божьим словом спасалась. Как развод, бывало, на работу в воскресенье, мне прямо уж объявляют: "Староверка, в карьер!" За то, что я и там не робила по воскресным дням. Попервости в погреб этот впихнут зуб на зуб не попа-дат. Руки коченеют. О, думаешь, хоть бы щепиночку какую дали, я бы и то обогрелась. А потом раздумаю: а слово-то божье

мне зачем дадено? Помолюсь, раскалю себя молитвой, вспомню про праведника Аббакума, как его в яме-то, в подземелье гноили да холодами пытали, голой сидел, мне и теплее станет. Словом, словом божьим обогрелась.

В понедельник утром из погреба, из карьера-то этого, выпустят шатаюсь, а улыбаюсь. Начальник заорет: чего улыбаешься? А то, говорю, улыбаюсь, что страданье дал, дозволил мне с господом богом наедине побыть. И тут еще поклонюсь ему в ноги. Спасибо, говорю. И вот мучил-мучил меня это когда вторым-то заходом я была в лагерях – да и выгнал. "Доконала ты, говорит, меня, бабка. Не хочу, чтобы ты от моих рук смерть приняла. Убирайся, говорит, с глаз долой. Чтобы духу твоего здесь не было".

– Да, бабушка, – сказал я, – не жизнь у тебя, а целое житие.

– Не обделена, не обделена страданиями да испытаньями. И то хорошо, то милость господ-ня. Через страданья да испытанья дорога в царствие божие лежит. Страданья да испытанья освещают нам путь в град всевышний. Ну, об одном прошу, об одном молю, господи, – старуха перекрестилась и вдруг беспомощно, совсем-совсем по-ребячьи расплакалась, – не дай умереть с коростой клеветы бесовской. Сними понапраслину, сними жернов каменный. Хоть перед самой смертью, хоть в гробу пущай все увидят, кто раба твоя Соломида.

Я не знал, как утешить старуху, и только вздохнул.

Между тем она поглядела на солнышко и начала подниматься с бревна.

– Посиди еще, бабушка.

– Нет, Матрены, видно, не дожидаться – на молитву пора вставать.

– Успеешь еще, – снова попытался я удержать старуху.

– Не говори так, – строго сказала она. – Молитва – перво дело, изо всех работ работа. Сила да разу м каждый день человеку нужны, а без молитвы откуль их взять? Я понял, бесполезно ее удерживать, да к тому же в это время на дороге раздалась пьяная песня: мой шофер в обнимку с высоким мордастым парнем подходил к нам.

3

На другое лето я, как только приехал на родину, отправился в Койду проведать старуху.

В низкой, на старинный манер избе – без обоев, без белил, без занавесок, одно золотистое дерево – меня встретила дочь старухи, тоже уже старуха, та самая Матрена, которую в прошлый раз, сидя на бревне, поджидала ее мать. Самой Соломиды в живых уже не было – она умерла весной нынешнего года.

– Хорошо померла, – начала рассказывать Матрена, то и дело вытирая слезы со своего простоватого, бесхитростного лица. – Легкая смерть была. Паску встретила, разговелась, а там уж и ангелы прилетели, кончились земные страданья.

– Ну а все же, как это было?

– Как умерла-то? А вот сидели тут за столом, разговлялись, она и говорит мне: "Сходи-ко, говорит, за старухами, проститься хочу". Что ты, говорю, мама, ничего-то выдумываешь? "Иди, говорит, зови да пошевеливайся. Живо у меня!" Еще острастку мне дала. Ну, пришли старушон-ки. Мама на ноги поднялась, тут вот сидела, на лавке, встала лицом к иконам, перекрестилась. "Вот, говорит, скоро предстану перед господом богом, не грешна перед людьми. Через всю жизнь, говорит, со словом господним на устах прошла". А потом – старухи и в себя прийти не успели – легла прямо на пол вот так вот, глазами к божнице, руки крест-накрест, и померла. Ну дак уж старухи и бабы потом на коленях ползали перед мамой. "Прости, прости, говорят, Соломида. И нас прости, и всех прости, кто перед тобой согрешил. Мы ведь, говорят, всю жизнь тебя топтали да пинали, детям твоим житья не давали, а теперь, говорят, видим: святая меж нас жила".

Что ты, как не святая. Икотницы-то помирают – по целым дням кричат до корчатся, бесы мучают. А тут ведь как голубок вздохнула. Смертью, смертью мама оправдалась перед всеми. Смертью своей сняла с себя и со всех нас понапраслину.

Под вечер Матрена проводила меня на кладбище, такое же старое и запустевшее, как сама деревня, и я долго стоял у песчаной могилы со свежим, еще не обветренным сосновым столби-ком, на котором не было ни единой буквы, ни единого знака.

1978

1

Августовский заморозок, или утренник, как говорят на Севере, на всем лету срезал лето.

Еще накануне гуляли в одних рубашках и платьях, еще вечером пили чай у раскрытого окошка, а утром встали – мостки белые от инея.

Секретарь райкома, молодой, еще всё принимавший близко к сердцу, переживал эту беду как личное горе.

– Жуть, жуть! Три года подряд неурожай. Мы уж на зерновые махнули рукой, да ведь и картошку-то не можем собрать. Картошку третий год завозим в район.

– И часто это у вас?

– Утренники-то? А года через два, через три. Что вы хотите, где живем-то? – Секретарь ткнул пальцем в сторону административной карты, висевшей на стене. – Под самым Полярным кругом. Ну, раньше все-таки меньше лютовал Север, лесов больше было, леса сдерживали. А теперь ледовитый океан чуть чихнул, и не то что у нас – Вологду в дрожь. В общем, – секретарь сокрушенно покачал светловолосой головой, – такими темпами будем косить леса, скоро вся Россия на сквозняке окажется, от моря до моря будут продувать ледяные ветры.

– Ну так не косите! – Я это бросил со злостью, с вызовом, потому что надоели эти местные плачи, надоел скулеж.

– Ах вот как, не косите!.. А план? А задание? Я сегодня пришел в райком – какой первый звонок из области? Об утреннике? О том, что у тебя на полях делается? Как бы не так! Сколько кубов дал за сутки. Да мы ради того, чтобы план выполнить, готовы последнее дерево в районе срубить. Можете вы это понять?

Минуты две мы сидели молча, избегая встречаться друг с другом глазами, затем секретарь, уже снова собранный, подтянутый, начал обзванивать совхозы.

– Самсонов, что у тебя? Докладывай. Нечего докладывать? Ну, хоть картошки-то сколько-нибудь уцелело? Все спалило, только на приусадебных участках кое у кого осталось... Ну-ну...

Секретарь вяло опустил трубку.

– Вот так. У Самсонова самое высокое место в районе, так что другим можно не звонить.

Но он снова взялся за телефон.

– Санникова мне. Санников у телефона?.. А чему ты радуешься, товарищ Санников? Тебя что – утренником не ударило? Чего-чего? Ни про какой утренник не слыхали? Да ты что... Нет, ты серьезно? Поздравляю, поздравляю...

С молодого лица секретаря как волной, как весенним ливнем смыло всю хмурь, и он первый раз за это утро рассмеялся:

– Герой этот Санников! Третий год подряд утренников нет. Во всех деревнях всё морозом убило, а он только похохатывает. Я заколдован, говорит. Черта лысого он заколдован. Болото за деревней осушено – вот в чем дело. Рассказывали мне как-то, крестьянин один у них был, еще до революции, сорок лет болото осушал.

– Сорок? Сорок лет болото осушал?

– Сорок. Прямо какой-то Микула Селянинович! Я в прошлом году, когда мне рассказали, тоже не поверил. Фантастика какая-то, думаю, сказка. А теперь вижу, тут что-то есть.

2

Наверху опять было лето, такое же голубое и сияющее, как вчера и позавчера, а на земле была осень, поздняя, безрадостная осень. Всё почернело, всё сникло, набухло водой: картофе-льная трава, ячмень, овсы. И дороги развезло – легковуху качало, как пьяную. Так всегда бывает после большого утренника.

Но вот мы поднялись в гору, перевалили за холм, и что за чудо, куда девалась осень? Ячмень стоит колос к колосу, как гвардия на параде, картофельные гряды сочно зеленеют под солнцем, а за картофельными грядами и вообще летняя сказка – рожь волнами.

– В Шавогорье завсегда так, – сказал заметно повеселевший шофер. Весь район сегодня в трауре, а они песни поют.

Песен, положим, на деревне не было, но председатель сельсовета, тот самый Санников, к которому часа два назад звонил секретарь райкома, встретил меня чуть ли не переплясом – веселого нрава был человек, хоть и не первой молодости.

– Так, так. Насчет нашей знаменитости, значит, пожаловали? Был, был у нас Сила Иванович.

– Сила Иванович? Так и звали?

– Так. По метрикам-то, правда, Силантий, а старые люди – Сила. Да и сам он себя Силой называл. Высоко голову держал. Раз, говорит, я Силой родился, дак мне,

говорит, и дела надоть по моим силам. И вот придумал – с чертями сражаться. А? Ничего себе работенку подыскал? Люди пашут, сеют, воюют, а он одно знает – войну с болотом. В гражданскую, сказывают, тут, в Шавогорье, страсть что было. Один конец деревни у белых, другой, – у красных. А он – знать ничего не хочу. В одну руку лопату, в другую батог старый уж был, прямо ветром шатало, – да на свое болото. Дак понимаешь, что было? Бои стихали меж красными и белыми. Ждали, когда старик полем пройдет. Заметный был. Всё, говорят, до самой смерти в каbate ходил. Руба-ха такая длинная из белой домотканины, вроде как спецовка по-нынешнему. При этих словах я невольно посмотрел в окно, за которым кипело зеленое поле.

– Нет, нет, – оскалил крепкие зубы Санников, – не там расхаживал Сила Иванович. Там у нас юг, а Силины владенья на севере.

Машины под рукой не оказалось – «райкомовка» сразу же укатила обратно, а совхозные – где они среди страдного дня? Мы отправились на телеге – сил не было ждать до вечера.

Дорога была плотная, хорошо накатанная, и мы быстро миновали поля, подъехали к озеру, в которое когда-то Сила Иванович спускал воду из болота, а от озера – уже пешком – двинулись к зарослям ольшаника.

Я волновался, как мальчишка.

Я жадно вглядывался в надвигающуюся на нас зеленую чащобу и все ждал: вот-вот рассту-пится сейчас кустарник, и я увижу неоглядное болото, поле битвы человека, который всецело захватил мое воображение.

Санников – он шагал впереди – вдруг остановился:

– Ну вот, пришли.

– Как – пришли? – Я непонимающим взглядом обвел задичавшую, невыкошенную пожню, на которой мы стояли, посмотрел на зеленую стену ольшаника – до него оставалось метров пятьдесят, не меньше.

– Пришли, говорю. Отсюда Сила Иванович начинал свои дела.

– А болото?.. Где болото?

Санников широко улыбнулся:

– Да это и есть болото. И где ольшаник – болото, и за ольшаником болото.

Далеко, километра на два на север уходит. Я еще помню Силины окопы. Мы так канавы евовные в детстве звали, в войну тут все ребята играли. Ну а теперь, ясно дело, все заросло. Без топора в эту чертоломину не скоро и попадешь.

Мне все же хотелось своими глазами увидеть дело рук легендарного человека (по крайней мере, для меня легендарного), и я, не говоря ни слова, полез в чащобу.

Долго я продирался через кустарники, долго бродил по лесу (тут и сосны, и ели росли), долго слышал сзади себя тяжелый сап (у Санникова оказалась одышка), но каких-либо отчетли-вых признаков канав не нашел. Только кое-где на красном и зеленом долгомошнике угадывалось что-то вроде продолговатых ложбинок.

– Да, может, все это рассказы? – заговорил я, когда мы выбрались из ольшаника и присели на угорышек, под которым ржаво, густо заросший осокой, сочился ручеек.

– Что – рассказы? Сила Иванович рассказы? – Санников вытер ладонью красное, запаренное лицо. – А как же это? Всех утренняя бьет, а нас бог милует? Нет, тут болото было страсть, – он махнул рукой в сторону ольшаника. – Как немножко сивер дунет, и по этому болоту, ровно как по трубе, хлынет стужа на деревню. Всё сжигало, всё убивало. Отец, бывало, всё говорил: редкий год доходили хлеба.

Сила, Сила Иванович беду отвел от Шавогорья. Он сорок лет канавы копал да воду из болота спускал.

– Один?

– Копал-то? Да, можно сказать, что один. Правда, попервости-то, сказывают, он давал клич мужикам. Обращался на тогдашнем на общем собрании деревни. Как его это, общее собранье, тогда звали? Сход, что ли? Давайте, говорит, навалимся всем миром, всем скопом на это чертово болото, спустим воду, отгоним холода. Ежели нам, говорит, не суждено хорошей жизни увидеть, дак пушай, говорит, хоть наши дети увидят. Ну а русский мир, сам знаешь, какой. Бульдозером не своротишь. Только один брат евовный и откликнулся, да и тот через год, через два загнулся.

– Умер?

– Болото съело.

Санников на минуту задумался.

– Не знаю, не знаю, что за человек был. Зарплаты не платили, канавокопателей и всякой техники не было. Всё лопатой, всё лопатой. Сорок лет. Железо вон неделю в воде полежит, и то ржа съест. А тут живой человек, из костей, из мяса, да не неделю, а сорок лет... Вот его, бывало, великим коммунаром и называли.

– Кто назвал?

– Комиссар один. Он когда ведь умер-то? А в аккурат в то самое времечко, когда граждан-ская у нас кончилась. Я-то, конечно, ничего этого не помню, поскольку

Федор Абрамов Бабилей abramovfyodor.ru

меня в то время еще в проекте не было, а отец рассказывал. Войск, говорит, красных нагнали – деревня не вздымает. Гроб, говорит, красный, знамена красные – по-новому хоронили. Митинг у церкви. И вот, говорит, комиссар. Мы, говорит, товарищи бойцы, с винтовкой в руках коммуны завоевывали, а он, говорит, с лопатой. Сорок лет. Дак как, говорит, такого человека назвать? Великий коммунар... Санников устал, видно, от затянувшегося серьезного разговора и опять заухмылялся:

– Ну а насчет детальностей, как и что, надо старушенок потеревить. Есть еще, которые помнят те времена.

3

За два дня я наслушался про Силу Ивановича всякого.

Человек-богатырь, какого еще земля шавогорская не рожала ("Бывало, руки раскинет – ровно сажень"); колдун, который всю жизнь с лешаками водился ("А иначе как бы он такое болото осушил?"); чокнутый, не в своем уме ("Разве нормальный человек стал бы сорок лет в болоте рыться?")...

– Он ведь и в церкву не ходил, – поведала одна набожная старушонка, в воскресенье робил. Батюшко, бывало, все страшал: проклянута тебя, еретика. А ему и дела мало: я, говорит, лопатой крещусь каждый день с утра до вечера. Вот моя молитва богу.

Всего-всего, до последнего вздоха отдал себя болоту Сила Иванович, его на болоте мертвым и нашли.

Но, господи, до чего же жестоки, до чего неблагодарны бывают те, ради которых сжигают себя!

Человек поднялся на такое дело, можно сказать, всем богам и всем чертям вызов бросил – да вся деревня твой вековечный должник, все – стар и мал – твои слуги, твои помощники. А ему земляки на болото напрямик не разрешили ходить. Умолял, на каждом сходе упрашивал: разрешите через поля, и даже не через поля, а через полевые межи тропку протоптать – в два раза короче у меня будет дорога. Не разрешили. Так до самой смерти и шастал в обход.

– Плакал, – рассказывала одна старушонка и при этом сама плакала. – Я ведь, говорит, для вас стараюсь, не для себя... Я ведь, говорит, не возьму болота на тот свет... Я ведь, говорит, два часа на одну ходьбу трачу, а в это время мог бы, говорит, болото рыть.

– Але опять обносился, обтрепался, – это уже другая старуха сказывала, – дак, веришь ли, весь в заплаках да в заплатках – разноцветных, как, скажи, ряженный по улице – то идет. Да босиком але в лаптях берестяных. Дак матери – то, бывало, нас, малых, пугают: вот пошали у меня, отдам Болотному – все Болотным звали. Дак мы – ума – то нету – и палкой, и камнем в его. А он эдак берестой только голову прикрывает. Кажинный раз, и вперед, и назад, как грешник, по деревне – то идет.

Не любили, не любили его при жизни, это уж после его стали добрым – то словом вспоминать, когда он север от деревни отогнал...

Перед тем как покинуть Шавогорье, я еще раз потоптался на том месте, где когда-то стоял холостяцкий домишко Силы Ивановича (ему и жениться некогда было, рассказывают старухи), а потом пошел поклониться его могиле.

Долго мы с Санниковым бродили по кладбищу, побывали у каждого столбика, у каждой пирамидки и не нашли, не нашли могилы Силы Ивановича. Не уцелела.

– Следопытов красных у нас нету, – начал было объяснять мне Санников, когда мы уже выходили с кладбища, – а то бы они живо отыскали... В газетах – то вон читаете: там того отыскали, там другого...

И замолк, отвел глаза в сторону.

1979

БРЕВЕНЧАТЫЕ МАВЗОЛЕИ

Новгородчина. Восточная сторона...

Сколько раз за эти дни проходил я через заброшенные, словно вымершие деревни, сколько видел пустых домов с давно остывшими печами! И, кажется, уже начал привыкать и к запустению, и задичанию, но эта деревня меня взволновала: на углах домов я увидел небольшие красные звездочки, вырезанные из жести, в память о погибших на войне. Обычай, ныне довольно распространенный на сельской Руси.

От единственной старушонки, которая жила в этой деревне (на лето из города приехала), я узнал, что поставил звезды на домах местный учитель со школьниками, и мне захотелось познакомиться с ним. Но учитель жил в соседней деревне, до

Федор Абрамов Бабилей abramovfyodor.ru

которой, по словам старухи, было километра четыре, а на дворе уже надвигался вечер, и я решил отложить встречу с учителем до завтра.

При непривычном свете давно забытой керосиновой лампешки мы с хозяйкой попили чаю, поговорили о том о сем, а потом перед сном я вышел глотнуть свежего воздуха.

Вечер был дивный. На голубом небе дружно высыпали звезды, да такие яркие, спелые. И была луна слева, так что вся улица была закрещена чернильными тенями.

Путаясь в паутине этих теней, я прошел через всю деревню, вышел к старой обвалившейся изгороди и опять потянулся глазами к небу.

Звезды стали еще ярче. И я смотрел-смотрел на их алмазное мерцание и вдруг вспомнил притчу из далекого детства – о том, что после смерти людей души их поселяются на звездах, каждая душа на особой звезде.

Но, боже, как холодно, как одиноко и тоскливо на этих звездах, подумал я. И почему бы душам погибших на войне из этой деревни не поселиться в собственных домах, за которые они отдали жизнь?

И едва я подумал так, как тотчас же мертвые дома, чернеющие под ярким, алмазным небом, представились мне сказочными бревенчатыми мавзолеями, в каждом из которых покоится душа погибшего на войне хозяина – солдата.

Бревенчатые мавзолеи... По всей России...

1978

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://abramovfyodor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!